

# Черный атлас



Семён Ренард

18+

Селин Ренард  
**Чёрный ангел**

«Автор»

2026

## Ренард С.

Чёрный ангел / С. Ренард — «Автор», 2026

Она — сирота, которую никто не ищет. Он — торговец оружием и людьми, чьё имя заставляет молчать даже полицию. Франция, 1949 год. Послевоенный пепел ещё не осел на руанских мостовых, а восемнадцатилетняя Катарина Шмидт уже знает: мир не даст ей второго шанса. Воспитанница приюта святой Бригитты, она привыкла платить за свою жизнь и за жизнь младшей подруги любой ценой, даже если этой ценой становится она сама. Вольфганг Гросс не ищет любви, он ищет товар. В его тайном доме на отшибе насилие возведено в ритуал, а человеческая душа — всего лишь разменная монета в теневых сделках. Когда он называет Катарину «слишком старой и худой», она думает, что спасена. Но Гросс коллекционирует не только тела. Его интересует то, что нельзя продать: страх, сопротивление и то, как они превращаются в желание. «L'Ange Noir» — эротический исторический роман для тех, кто верит, что даже в самых тёмных душах теплится свет. И что самое сильное освобождение — это добровольное подчинение.

© Ренард С., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1	7
Глава 2	12
Глава 3	18
Глава 4	25
Глава 5	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Селин Ренард Чёрный ангел

*Пантера*

*Его взгляд от решеток устал так,*

*Что их вовсе не видит. Ему кажется,*

*Что решеток тысяча, и за решеткой*

*Мира нет.*

*При шаге упругом и легком — бег*

*По крошечному кругу, и в этом круге*

*Воля замерла. Как танец силы*

*Вокруг центра, где спит великая тоска.*

*Лишь изредка приподнимет веки — и образ*

*Войдет в зрачки, пробежит вдоль напряженных мышц —*

*И в сердце угаснет.*

(Райнер Мария Рильке, перевод Бориса Пастернака)



## Глава 1

Сентябрь 1949 года выдался в Нормандии настолько промозглым, что даже старые сёстры, прослужившие в приюте святой Бригитты тридцать лет, впервые начали жаловаться на боль в костях. Дождь начался ещё в середине августа и с тех пор не прекращался ни на день, превратив и без того унылые окрестности Руана в бесконечное месиво из грязи, опавшей листвы и серого неба, которое опускалось так низко, что, казалось, давило на крышу. Вода сочилась сквозь дырявую черепицу, затекала в трещины каменных стен и собиралась в лужи на полу дортуаров, где тридцать девочек — немецких сирот, которых французское правительство отказалось признавать своими гражданами, спали на железных, до остова проржавевших койках, укрываясь ветхими, пропахшими плесенью и дешёвым мылом штопанными одеялами. Запах сырости, казённого супа и карболки вьелся в эти стены так глубоко, что даже спустя годы Катарина Шмидт будет просыпаться в холодном поту, чувствуя его во сне.

Катарине было восемнадцать лет, и она считалась в приюте самой старшей, хотя, по правде говоря, старшей здесь была мадам Дюваль, сухая женщина с вечно красными руками и сильным голосом, который она потеряла ещё в сорок четвёртом, когда американские бомбы упали на соседнюю деревню. Катарина попала сюда десять лет назад, после того как её отец, вермахтовский офицер, погиб под Сталинградом, а мать, молодая и красивая немка по имени Хайке, собрала чемодан и уехала с русским солдатом, который обещал ей лучшую жизнь. «Мне жаль, Катарина, но ты слишком похожа на отца», — сказала мать перед уходом, и Катарина запомнила эти слова в тысячу раз лучше, чем её лицо. С тех пор она ни разу не получила от матери ни письма, ни фотографии и давно перестала ждать, потому что в приюте святой Бригитты ожидание было самым жестоким наказанием — хуже, чем стояние на горохе и даже чем порка розгами по пятницам.

В углу дортуара, на единственной койке у окна сидела Ингрид Фогель, которую Катарина любила так, как можно любить только того, кто разделял с тобой голод, холод и унижения на протяжении целого детства. Ингрид было пятнадцать, у неё были тонкие руки, бледная кожа и огромные голубые глаза, которые делали её похожей на куклу, какую Катарина однажды видела в витрине руанского магазина. Эта кукольная хрупкость была одновременно и её главным сокровищем, и проклятием, потому что именно таких девочек — маленьких, беззащитных и с ангельскими лицами забирали первыми, и никто никогда не знал, куда их увозили. Ингрид бесконечно перечитывала потрёпанный томик Бальзака, который Катарина выменяла для неё за свою порцию хлеба три месяца назад у одной из девочек, водила пальцем по строкам книги и шевелила губами, словно боясь, что слова разбегутся, если она не будет удерживать их взглядом.

Катарина сидела на полу, поджав под себя босые ноги, и рисовала углём на стене — единственном холсте, который сёстры не могли у неё отнять, потому что стена принадлежала Богу, а Богу, как известно, плевать на рисунки сирот. Она рисовала зимородка, которого видела прошлым летом, когда их вывозили работать к озеру: маленькая птица с зелёной спинкой и оранжевой грудкой замерла на мгновение над мутной водой, а потом нырнула и исчезла, оставив после себя только круги на поверхности. Катарине нравилось думать, что эта птица была свободной, что она могла улететь куда угодно, и никто не мог запереть её в сиротском доме или заставить мыть полы в каменном коридоре, сдирая и без того огрубевшую кожу на пальцах до костей. Она рисовала медленно, старательно выводя каждое пёрышко, и не слышала, как за дверью послышались шаги мадам Дюваль — тяжёлые и осторожные, словно женщина боялась споткнуться.

— Девочки, освежите лица и оденьтесь прилично, — сказала мадам Дюваль, входя в комнату и тут же закрывая за собой дверь, чтобы холод не проник внутрь. — К нам едет господин Гросс. Он забирает вас всех.

Ингрид подняла голову от книги, и на её лице появилось то выражение, которое Катарина уже научилась распознавать за годы их дружбы: смесь страха и надежды, разбавленная полным непониманием того, что происходит. «Всех» означало не только их двоих, но и остальных двадцать восемь девочек, которые сейчас, услышав шаги мадам Дюваль, уже собирались у дверей, шепчась и толкаясь. Слухи о господине Гроссе ходили по приюту уже неделю — говорили, что он богатый ресторатор из Руана, что он платит щедро и не задаёт лишних вопросов, а ещё говорили, что девочки, которых он забирает, никогда не пишут писем и никогда не возвращаются.

— Забирает всех, — повторила Катарина, не оборачиваясь от стены. Она продолжала рисовать, потому что если бы она сейчас остановилась, то, возможно, начала бы дрожать, а дрожать перед мадам Дюваль было нельзя. — Куда?

— В его поместье. Он говорит, что там вы будете учиться хорошим манерам, работать в ресторане и готовиться ко взрослой жизни, — ответила мадам Дюваль, и её голос звучал так, словно она читала заученный текст. — Это большая удача для вас, девочки. После войны сирот никто не берёт на работу, а он даёт вам крышу над головой и пропитание.

Крыша над головой и пропитание звучало как рай после приюта святой Бригитты, где крыша протекала, а пропитание состояло из брюквенной похлёбки и чёрствого хлеба, но Катарина знала, что если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, ложь. Этому её научила собственная мать, которая говорила очень много красивых слов перед тем, как уйти, и оставить маленькую девочку на попечение мадам Дюваль.

— Мы поедем все вместе? — спросила Ингрид, прижимая книгу к груди так сильно, что костяшки её пальцев побелели.

— Все вместе, — кивнула мадам Дюваль. — Господин Гросс сказал, что ему нужны девушки любого возраста, но особенно те, кто умеет читать и писать. Ты, Катарина, будешь помогать ему с бумагами, а ты, Ингрид, будешь переводить, ты у нас одна с каким-никаким образованием.

Катарина наконец повернулась и посмотрела на мадам Дюваль. В глазах старой женщины она увидела то, что та пыталась скрыть: не радость за девочек, а облегчение от того, что ей больше не придётся кормить тридцать ртов. Зимой, когда запасы подходили к концу, а правительство сократило дотации для приютов, мадам Дюваль спала по три часа в сутки и худела вместе со своими подопечными. Сейчас она выглядела почти счастливой, и это было для Катарины самым страшным открытием.

Машины приехали через час. «Ситроен Traction Avant» и какой-то фургон, сплошь покрытые слоем дорожной грязи, остановились прямо у ворот, и из первой вышел мужчина в длинном тёмном пальто и кожаных перчатках, которые он не снял, даже когда начал говорить. Его звали Вольфганг Гросс, как поговаривали, ему было тридцать восемь лет, и Катарина сразу заметила в его облике ту особенную породу жестокости, которая не кричит о себе, а, напротив, рядится в элегантность и вежливость, как хищник одевается в шкуру жертвы. У него были русые волосы, зачёсанные назад, острые скулы, тонкие губы и глубоко посаженные глаза такого тёмно-синего оттенка, что они казались чёрными. На левой щеке, прямо под глазом, виднелась маленькая родинка, и эта родинка придавала его лицу что-то женственное и опасное одновременно, как будто красота и уродство спорили за право обладать этим человеком.

— Все здесь? — спросил он у мадам Дюваль, даже не взглянув на девочек, которые выстроились во дворе в три неровных ряда, дрожа от холода и страха.

— Все тридцать, господин Гросс, — ответила мадам Дюваль, и её голос прозвучал выше обычного. — Как и договаривались.

Он кивнул и наконец повернулся к девочкам. Его взгляд скользнул по их лицам медленно, без всякого выражения, как вода скользит по стеклу, не задерживаясь и не запоминая своего пути. Катарина стояла в первом ряду, держа Ингрид за руку, и чувствовала, как пальцы подруги дрожат. Она сама не дрожала, потому что за десять лет в приюте научилась контролировать своё тело лучше, чем большинство взрослых женщин, но внутри у неё всё сжалось в тугую холодный комок, который она не сумела назвать иначе, чем страх.

— Эта, — Гросс остановился напротив Ингрид и едва заметно улыбнулся, — кукольная внешность, хорошая шейка. Сколько лет?

— Пятнадцать, — ответила мадам Дюваль.

Он поднёс руку к подбородку Ингрид и повернул её голову сначала в одну сторону, потом в другую, как осматривают лошадь перед покупкой. Ингрид замерла, и Катарина увидела, как её глаза наполнились слезами, но она не заплакала — она была слишком испугана даже для слёз. Гросс отпустил её так же внезапно, как и взял, и перевёл взгляд на Катарину.

Он смотрел на неё долго — дольше, чем на других девочек, и Катарина не знала, что это означало для неё. Ей казалось, что он видит не её тощее лицо, не её золотистые волосы, которые она никогда не стригла, и не её карие глаза или веснушки на переносице, а что-то другое, спрятанное глубоко внутри, то, что она сама не умела разглядеть.

— Эта слишком старая, — бросил он наконец, обращаясь к мадам Дюваль, но не сводя глаз с Катарины. И добавил, помолчав: — И худая. Грудная клетка совсем как у мальчишки.

Мадам Дюваль открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Гросс уже пошёл дальше, осматривая остальных девочек с той же пугающей бесстрастностью. Катарина почувствовала, как Ингрид сильнее сжала её руку, и поняла, что подруга успокаивает не себя, а её, Катарину. Эта детская забота была настолько неожиданной и трогательной, что Катарина едва не заплакала, но сдержалась, потому что плакать во дворе перед незнакомым мужчиной было бы непозволительной роскошью.

Осмотр занял не более десяти минут. Гросс отобрал двенадцать девочек — самых младших и самых, по его словам, красивых и велел им готовиться к отъезду. Остальные, включая Катарину, должны были остаться в приюте, и мадам Дюваль уже начала было успокаивать их тихим голосом, когда Катарина шагнула вперёд.

— Моя подруга едет, — медленно проговорила она, и её голос прозвучал даже твёрже, чем она ожидала. — А я остаюсь. Почему?

Гросс обернулся, и Катарина впервые увидела его глаза вблизи: они были не просто тёмными, они были мёртвыми, как два колодца на заброшенном кладбище, и в них не отражалось ничего, кроме скуки и усталости от того, что ему приходится объяснять очевидные вещи глупым девчонкам.

— Потому что ты мне не подходишь, Tierchen, — сказал он, и каждое его слово падало как камень. — Я не беру в свой оборот бракованный товар.

В этот момент Ингрид, которая стояла в очереди на посадку, вдруг покачнулась, её лицо стало белым, как полотно, и она начала оседать на землю, не издав ни звука. Катарина подхватила её за секунду до того, как та упала, и опустилась на колени прямо в грязь, прижимая подругу к себе и чувствуя, как её тело сотрясается от мелкой дрожи. Обморок был неглубоким — Ингрид открыла глаза уже через несколько секунд, но взгляд у неё был пустым и стеклянным, как у человека, который находится где-то далеко от своего тела.

Гросс смотрел на эту сцену безо всякого выражения. Он не сделал ни шага, не спросил, что случилось, и не предложил помощи. Он просто стоял, засунув руки в карманы пальто, и терпеливо ждал, когда Катарина поднимет голову и посмотрит на него.

Она посмотрела. Несмотря на запрет, которого ещё не было, но который она уже чувствовала в его взгляде, она посмотрела прямо в его синие глаза и сказала:

— Пожалуйста, возьмите меня вместо неё.

Гросс наклонил голову, и в уголке его губ появилось что-то, отдалённо напоминающее улыбку. Это была хищная улыбка человека, который услышал чертовски хорошую шутку.

— Ты хочешь, чтобы я взял тебя вместо кукольной девчонки, которая только что упала в обморок от одного моего взгляда? — переспросил он. — Зачем мне менять отличный ходовой товар на старый брак?

— Потому что она умрёт у вас, — спокойно и рассудительно констатировала факт Катарина. — Она слабая, и она будет плакать, а вы не потерпите слёз. Я же не буду плакать, я буду делать то, что вы скажете, и не стану задавать вопросов.

Она не знала, откуда взяла эти слова. Возможно, они лежали где-то глубоко внутри неё все эти десять лет приюта, дожидаясь своего часа, а возможно, она просто сказала первое, что пришло в голову, потому что видеть Ингрид на грани обморока было невыносимо, а терять её — и подавно. Гросс смотрел на неё ещё несколько секунд, и Катарина видела, как его взгляд изменился: в нём появилось что-то новое, какой-то проблеск интереса, который она не сумела расшифровать.

— *Verdammt* ... Ладно, — сказал он наконец. — Я беру тебя, но не питай ложных иллюзий, это не потому что ты хороша — ты слишком стара и худа, и для моих клиентов ты вряд ли подойдёшь, но ты, кажется, не боишься меня, а это определённо будет забавно. И ещё, запомни одну важную вещь, и остальных это тоже касается — никогда не смотрите мне в глаза, это выводит меня из себя, а когда я зол — всем вокруг плохо.

Он повернулся к мадам Дюваль и добавил, не глядя на Катарину:

— Запиши её. И эту, которая в обмороке, тоже, пусть едут обе. Если одна сломается, взамен всегда останется другая.

Мадам Дюваль кивнула и начала переписывать список, а Гросс уже направился к своей машине — чёрному «Ситроену Traction Avant», за рулём которого сидел мужчина лет пятидесяти в чёрной кепке, не проронивший за всё время ни слова. В фургон, в кузове которого можно было разместить до пятнадцати человек, если не обращать внимания на тесноту и отсутствие сидений, погрузили большую часть девочек. В «Ситроен» сели сам Гросс на переднее пассажирское место, его шофёр и три девочки, которых Гросс выбрал лично: хорошенькая брюнетка лет шестнадцати по имени Лотта, её младшая сестра Грета и, как ни странно, Ингрид, которая всё ещё была бледна и держалась за дверцу, чтобы не упасть. Катарина вместе с остальными десятью девочками забралась в кузов фургона, где пахло бензином, старой соломой и чем-то, напоминающим прокисшее молоко.

Ингрид, оказавшись в машине Гросса, обернулась и посмотрела на Катарину через заднее стекло. Её глаза были полны слёз, и она беззвучно шевелила губами, но Катарина не могла разобрать, что именно та говорит. Она только покачала головой и улыбнулась той улыбкой, которую она приберегала для самых страшных моментов, когда нужно было убедить Ингрид в том, что всё будет хорошо, даже если сама Катарина в это не верила.

Фургон тронулся первым, потому что дизельный двигатель грелся дольше, и Катарина, сидя на грязном полу между двумя перепуганными девочками, смотрела в прорезь между деревянными бортами на удаляющиеся стены приюта святой Бригитты. Она не оборачивалась. Она знала, что если обернётся и увидит лицо мадам Дюваль, которая стояла у ворот с поднятой рукой, то, возможно, заплачет, а плакать перед другими девочками она не могла, потому что они и так были напуганы до смерти и нуждались в том, чтобы хотя бы кто-то оставался сильным.

В кузове было темно, холодно и тесно. Девочки сидели, прижавшись друг к другу, и никто не говорил ни слова. Катарина чувствовала, как вибрация мотора передаётся её позвоночнику, и считала удары, чтобы не думать о том, куда они едут. Она насчитала тысячу двести семь ударов, когда фургон остановился. Сквозь щели в бортах она увидела, что они находятся в лесу, перед железными воротами, за которыми угадывался большой дом с заколоченными окнами.

«Ситроен» подъехал следом через минуту, и Гросс вышел из него, потягиваясь и заку- ривая. Он не посмотрел в сторону фургона, не спросил, как девочки перенесли дорогу, и не сказал ни слова о том, что будет дальше. Он просто бросил шофёру:

— Выгружай их. И поживее.

Шофёр открыл задний борт фургона, и девочки начали выбираться наружу, слепые от внезапного света и дезориентированные после долгой тряски. Катарина выпрыгнула последней и сразу же увидела Ингрид, которая стояла у «Ситроена», всё ещё бледная, но уже твёрже державшаяся на ногах. Они встретились взглядами, и Катарина почувствовала, как страх, который она сдерживала всю дорогу, наконец-то нашёл выход в её груди, сжав её так сильно, что стало трудно дышать.

Она подошла к подруге, взяла Ингрид за руку и прошептала:

— Всё будет хорошо, Ингрид. Я здесь.

Ингрид ничего не ответила, только сильнее сжала её пальцы. А впереди, у железных ворот, стоял Вольфганг Гросс и курил, глядя на них сквозь дым, и на его лице не было ничего, кроме скуки и лёгкого поверхностного любопытства, с каким человек смотрит на муравьёв, случайно потревоженных палкой.

## Глава 2

Поместье, в которое привезли девочек, оказалось старым нормандским фермерским домом, перестроенным под нужды человека, который явно ценил уединение больше, чем комфорт. Здание из серого камня, покрытого лишайником, стояло на отшибе, в полутора километрах от ближайшей деревни, и единственная дорога, ведущая к нему, упиралась в железные ворота, которые были новыми и запирались на массивный замок. За воротами начинался двор, вымощенный булыжником, который проваливался под ногами из-за дождей, и несколько хозяйственных построек, одна из которых, судя по запаху, служила курятником, а вторая, с зарешёченными окнами и навесным замком на двери, вызывала у девочек нехорошее предчувствие.

Гросс не стал проводить экскурсию, потому что, как Катарина уже успела заметить, этот человек не делал ничего без цели, а демонстрация его владений испуганным сиротам не приносила ему ни удовольствия, ни выгоды. Он выпустил дым из последней затяжки, раздавил окурок носком ботинка, даже не наклонившись, и бросил шофёру короткое приказание отвести девочек в дом и разместить их в большой комнате на втором этаже. Сам он скрылся за дверью, ведущей, вероятно, в его личные покои, и больше не появлялся до самого вечера.

Комната, куда привели девочек, находилась в конце длинного коридора с низким потолком и полом, который скрипел при каждом шаге. Это была бывшая спальня для прислуги, совмещённая с другой комнатой и переделанная под дортуар: в три ряда стояли пятнадцать железных кроватей с тонкими матрасами, набитыми соломой, в углу, у единственного окна, выходящего на лес, притулился деревянный стол с зажжённой керосиновой лампой, у стены скривился простенький, но вместительный платяной шкаф, а рядом с ним стоял облезлый комод на 5 ящиков. Лампу зажгёт шофёр, которого звали Пьер, он, конечно, не представился, и Катарина узнала его имя только потому, что одна из девочек, самая младшая по имени Эльза, заплакала и попросила воды, а он, поколебавшись с минуту, принёс ей кружку тёплой воды из кухни и буркнул своё имя, когда та спросила.

— Не выходите из этой комнаты без разрешения, потому что если вы выйдете, то я не смогу гарантировать, что никто из вас не пострадает, — сказал Пьер, и в его голосе была только бесконечная усталость человека, который видел много такого, о чём предпочёл бы забыть. — Ужин принесут через час. Постарайтесь не шуметь, потому что господин Гросс не любит шума, а когда он не любит что-то, он делает так, чтобы это что-то навсегда исчезло из его дома.

Он вышел, и щёлкнувший за дверью замок подтвердил то, о чём девочки уже давно догадались: они были не гостями, а пленницами, и ключ, который повернулся в скважине, отделял их от мира так же надёжно, как стена отделяет живых от мёртвых. Кто-то заплакал в темноте, кто-то начал молиться, кто-то сразу принялся раскладывать свой нехитрый скарб в комод, кто-то просто сидел на кровати, обхватив колени руками, и смотрел в одну точку, ничего не видя перед собой. Ингрид прижалась к Катарине, положив голову ей на плечо, и её тихое дыхание было единственным, что удерживало Катарину от того, чтобы самой разрыдаться от отчаяния и страха.

— Мы выберемся, Ингрид, обязательно выберемся, только дай мне время понять, где мы и кто этот человек, — прошептала Катарина, хотя сама в это не верила, но ласковая, произнесённая ласковым голосом, часто успокаивает лучше, чем правда, сказанная с жестокой откровенностью.

Она оглядела комнату, стараясь запомнить каждую деталь: расположение кроватей, трещину на потолке, запах сырости и старой краски, смешанный с запахом мышей и дешёвого мыла. На стене, прямо над столом, кто-то когда-то выцарапал ножом имя: «Мишель», и дату, такую затёртую, что Катарина с трудом разобрала цифры: 1933. Она провела пальцами по этим

буквам, чувствуя подушечками шероховатость камня, и вдруг ощутила странную связь с женщиной, которая, возможно, когда-то стояла здесь, в этой же комнате, и тоже боялась, и тоже не знала, что будет завтра, и, возможно, тоже выжила, потому что имя её сохранилось.

Ужин принесли через час, как и обещал Пьер. Его принесла женщина лет шестидесяти в простом сером платье и выдавшем виды переднике, с хромой ногой и лицом, изрезанным глубокими морщинами. Её звали Мишель, как ту, чьё имя было выцарапано на стене, и Катарина потом долго гадала, был ли это тот же человек или просто совпадение. Женщина поставила на стол большую миску с овощным супом, от которого пахло луком и чем-то ещё, что Катарина не смогла определить, и корзину с чёрствым хлебом, на который тут же набросились самые голодные девочки. Мишель дождалась, пока они начнут есть, села на табурет у двери и закурила деревянную трубку, выпуская густые клубы дыма в потолок, где они смешивались с тенями от лампы и расплзались, как призраки.

— Вы из приюта святой Бригитты, я права? — спросила она, и голос у неё оказался низким и хриплым, как у человека, который много лет курит на сыром воздухе и уже давно не надеется дожить до следующей весны.

Катарина кивнула, не переставая жевать хлеб, потому что была слишком голодна, чтобы тратить время на разговоры, но при этом внимательно следила за каждым движением старухи, каждой складкой её фартука, каждым поворотом её головы. Мишель посмотрела на неё с каким-то странным выражением, в котором смешивались жалость, усталость и, возможно, лёгкое презрение к их наивности — презрение женщины, которая когда-то была такой же молодой и глупой и теперь расплачивалась за это каждый день своей хромой ногой.

— Дурочки, вы все до единой дурочки, если поверили в то, что он взял вас из доброты, — сказала она, выпуская дым и наблюдая, как он тает в воздухе. — Господин Гросс не делает добра, потому что добро не приносит денег, а деньги — это единственное, во что он верит, и то не до конца. Он торгует оружием, которое осталось после войны и которое до сих пор прячут по подвалам нормандские фермеры, не зная, что с ним делать, и он торгует людьми, потому что люди — это товар, который никогда не выходит из моды, в отличие от старых винтовок. Ресторан в Руане, который называется «Чёрный ангел», нужен ему только для того, чтобы отмывать деньги, и, если вы когда-нибудь попадёте в этот ресторан, то увидите, что там подают такое же дерьмо, как и здесь, только на тарелках с золотой каймой.

Ингрид поперхнулась супом, и Катарина похлопала её по спине, стараясь не показывать, как сильно её напугали слова старухи. Остальные девочки тоже перестали есть и уставились на Мишель широко раскрытыми глазами, в которых читался ужас, смешанный с неверием, потому что ни одна из них, даже самая старшая и опытная, не могла представить, что их жизнь, и без того не слишком сладкая, может стать ещё хуже. Эльза, та самая, что плакала и просила воды, начала тихонько всхлипывать, и старшие девочки, Лотта и Грета, сёстры из Кёльна, принялись её успокаивать, хотя сами были не в лучшем состоянии: их лица побелели, а руки дрожали так сильно, что они не могли удержать ложки.

— Вы работаете на него, мадам Мишель, и при этом говорите нам такие вещи, которые могут вас погубить, если он узнает, — сказала Катарина, вытирая рот тыльной стороной ладони. — Почему вы рискуете своей жизнью ради того, чтобы рассказать правду группе каких-то незнакомых девочек?

— Потому что кто-то должен был вам это сказать, а других желающих не нашлось, — ответила Мишель, и её глаза, выцветшие и мутные от возраста, вдруг стали жёсткими и ясными, как у человека, который давно смирился со своей судьбой, но не перестал ненавидеть того, кто эту судьбу определил. — Я работаю здесь поварихой уже десять лет, и за эти десять лет я видела, как через этот дом проходили сотни девушек, и почти все они уходили отсюда в лучшем случае с билетом в один конец до Марселя, где их ждали портовые бордели, а в худшем случае — в мешке для мусора, который Пьер увозил в лес на рассвете, пока никто не

видел. Я приехала из Лиона в тридцать девятом, думала, что буду готовить в ресторане для приличных людей, а оказалась в этой дыре, с зарешечёнными окнами и мужчиной, который ломает пальцы за лишнее слово и улыбается, когда кости хрустят. Он держит меня, потому что я стара и никуда не гожусь — кому нужна полуслепая повариха с больными ногами, но вас, молодых и красивых, он продаст, и вы даже не успеете понять, что произошло. Кому-то из вас достанется публичный дом в Касабланке, кому-то — личный гарем какого-нибудь бывшего эсэсовца, который живёт в Аргентине под чужим именем и коллекционирует детские воротнички. Некоторых господин оставляет себе, если они ему особенно нравятся, но те, кого он оставляет, редко живут дольше года, потому что его вкусы становятся всё изощрённее, а терпение — всё короче.

Она замолчала, раскуривая потухшую трубку, и в тишине, наступившей после её слов, было слышно только, как за окном шуршит дождь по листьям и как плачет Эльза, уткнувшись лицом в колени Лотты. Катарина сидела неподвижно, чувствуя, как слова Мишель вбиваются в неё, как мелкие осколки стекла, которые трудно вытащить, потому что они сидят слишком глубоко.

— А те, кто ему не нравится, или те, кто пытается бежать, куда они деются, мадам Мишель? — спросила Катарина, и её голос прозвучал удивительно спокойно даже для неё самой, потому что на самом деле внутри у неё всё кричало и металась от ужаса к какому-то странному, почти животному любопытству.

Мишель пожала плечами, и этот жест, такой равнодушный и одновременно страшный своей обыденностью, сказал больше, чем любые слова. Она пожала плечами так, как человек пожимает плечами, когда его спрашивают о погоде, а не о судьбе молодых женщин, которые исчезли навсегда.

— В лесу, который окружает это поместье, очень много оврагов, деточка, и нормандская земля здесь мягкая и влажная, так что копать легко, — ответила она, выбивая пепел из трубки прямо на пол. — Господин Гросс не любит оставлять следов, а лес — лучший друг того, кто хочет сохранить тайну. Деревья растут быстро, и через год уже никто не найдёт то место, если не знать, где именно искать.

В ту ночь никто не спал, кроме самых младших, которые заснули от истощения, не понимая до конца, какая опасность им угрожает, потому что детский организм защищается от ужаса так же, как защищается от боли — просто отключается, когда сил терпеть больше не остаётся. Катарина лежала на узкой кровати, прижавшись спиной к холодной стене, которая пахла известью и плесенью, и смотрела в потолок, на котором керосиновая лампа рисовала прыгающие тени, похожие на танцующих демонов. Рядом, на соседней койке, спала Ингрид, и её лицо во сне было безмятежным, как у ребёнка, который ещё не знает, что мир может быть жестоким, а её тонкие пальцы, сжимавшие край одеяла, казались такими хрупкими, что Катарине захотелось взять их в свои руки и никогда не отпускать. Она не могла сомкнуть глаз, потому что в голове у неё крутились слова Мишель, а перед глазами стояло лицо Гросса — его мёртвые глаза, тонкие губы и пугающая полуулыбка. Куда занесла их судьба? Смогут ли они выбраться отсюда живыми? Лучше бы им остаться в приюте святой Бригитты и до самой смерти питаться брюквой и работать в полях, чем попасть в бордель, или того хуже — сгинуть в здешнем лесу...

На следующий день началась та жизнь, которую Катарина потом будет вспоминать как долгий кошмар, перемежающийся минутами странного, почти болезненного просветления, когда она вдруг начинала понимать, что происходит в голове этого человека, и это понимание пугало её даже больше, чем его жестокость. Гросс не появлялся до самого обеда, девочки сидели в своей комнате, и, хотя их больше и не запирали, они не смели выходить, потому что коридоры казались им бесконечными и полными опасности, а каждый скрип половицы заставлял их вздрагивать и прижиматься друг к другу. Мишель принесла им завтрак — кашу из овсянки, сваренную на воде, и ведёрко цикория вместо кофе, который, по её словам, Гросс

экономил для своих партнёров по бизнесу, и посоветовала не привлекать к себе лишнего внимания, потому что чем дольше Гросс о них не вспоминает, тем дольше они остаются в безопасности.

Но, к их большому несчастью, Гросс вспомнил о них уже к вечеру, и Катарина поняла, что он не из тех людей, которые могут долго игнорировать новую партию товара, потому что товар, лежащий без движения, — это упущенная прибыль, а Гросс, как она успела заметить, никогда не упускал прибыли.

Он вошёл в их комнату без стука, и этот факт показался Катарине символическим: человек, который владеет твоим телом и твоей свободой, не нуждается в разрешении, чтобы войти, потому что ты для него — всего лишь ещё одна комната в доме, которую он может открыть в любой момент. Он был в том же пальто, что и вчера, но без перчаток, и Катарина впервые увидела его руки при дневном свете. У него были длинные, тонкие пальцы с идеально ухоженными ногтями и белыми шрамами на костяшках — следами, которые могли оставить только удары о зубы или, возможно, о стену, если бить с достаточной силой и достаточное количество раз. Он медленно обвёл взглядом комнату, пересчитал девочек, как пересчитывают монеты перед тем, как положить их в кошелек или отдать торговцу за новый товар, и остановился на мгновение на Катарине, но тут же перевёл взгляд на Ингрид, потом на Лотту, потом на маленькую Эльзу, которая спала, свернувшись клубочком на кровати в углу.

— Завтра вечером у меня будут гости, — сказал он, и его голос, низкий и чуть растянутый, прозвучал так, словно он сообщал о приходе почтальона, а не о событии, которое, как знала Катарина, изменит их жизнь навсегда. — Мне нужно, чтобы ваши лица были чистыми, а ваши языки — тихими. Если кто-то из вас заплачет или закричит, когда этого не требуется, я лично позабочусь о том, чтобы этот кто-то больше никогда не плакал и не кричал, потому что у того, у кого нет языка, нет и причин для крика. Вопросы есть?

Вопросов не было, потому что девочки сидели, вжав головы в плечи, и боялись даже дышать, не то что задавать вопросы человеку, который говорил о вырывании языков так же спокойно, как другие люди говорят о новостях в газете. Только Катарина подняла голову, но тут же опустила глаза и посмотрела на его ботинки — чёрные, до блеска начищенные, без единого пятнышка грязи, хотя во дворе была непролазная слякоть.

— А что мы должны делать на этой вечеринке, господин Гросс? — спросила она, и её голос прозвучал тихо, но отчётливо, как удар хлыста в тишине. — Просто стоять и молчать, или что-то ещё?

Он посмотрел на неё с тем же любопытством, что и вчера, но теперь в этом любопытстве появился новый оттенок — лёгкое раздражение человека, который не привык, чтобы ему задавали вопросы те, кто не имеет на это права.

— Ах, это ты, Tierchen из приюта, которая вызвалась ехать вместо подруги, — сказал он с усмешкой. — Ты всегда такая любопытная или только когда хочешь казаться храброй перед остальными, чтобы они думали, что ты их защитишь?

— Я просто хочу знать, что нас ждёт, господин Гросс, — ответила Катарина, не поднимая глаз. — Чем меньше мы знаем, тем сильнее боимся, а страх делает нас глупыми, глупые девушки ошибаются, а ошибки, как вы сказали, никто не прощает.

Он снова усмехнулся, и этот звук — сухой, короткий и похожий на треск ломающейся ветки, заставил девочек вздрогнуть всем телом.

— Ты рассуждаешь как солдат, который только что прибыл на фронт и ещё не понял, что не пули выбирают, кому умереть, а кому нет, — сказал он, доставая пачку «Голуза» из внутреннего кармана пальто и закуривая прямо в комнате, не спрашивая разрешения у тех, кому и так дыхнуть было нечем. — Но раз тебе так хочется знать, я отвечу, хотя обычно я не трачу время на бессмысленные объяснения. Вы будете делать то, что скажут мои гости, и ничего больше. Если кто-то из гостей захочет посмотреть на вас, вы будете стоять и смотреть

в ответ, но не слишком долго, потому что долгий взгляд иногда принимают за приглашение. Если кто-то захочет потрогать вас, вы позволите, но не будете улыбаться, потому что улыбка — это обещание, а вы ничего не обещаете, кроме того, что у вас есть тело и что это тело можно использовать. Если кто-то захочет большего, вы сделаете вид, что вам это приятно, даже если вам будет больно, потому что мужчины, которые приезжают ко мне, не любят, когда их партнёрши выглядят несчастными. Им нужны девочки, которые улыбаются, пока их трахают, понятно?

Катарина кивнула, чувствуя, как её щёки заливаются краской, а внутри всё сжимается в тугий узел леденящего ужаса. Рядом с ней Ингрид дрожала так сильно, что её зубы стучали, и Катарина взяла её за руку, чтобы хоть немного успокоить, хотя сама нуждалась в успокоении ничуть не меньше.

— Следуй за мной, — бросил он Катарине и вышел в коридор.

Она пошла за ним, чувствуя на себе взгляды девочек, которые провожали её до последнего поворота. Коридор был длинным и тёмным, с несколькими дверями по обе стороны, и каждая дверь, как казалось Катарине, скрывала за собой какую-то новую жестокость, о которой Мишель не успела рассказать. Гросс остановился перед последней дверью, достал из кармана ключ, отпер замок и жестом пригласил её войти.

Комната, в которую она попала, оказалась его личным кабинетом. Это было просторное помещение с высоким потолком, массивным письменным столом красного дерева и стенами, увешанными картами и схемами, которых Катарина не успела разглядеть. В углу стоял сейф, наполовину прикрытый плюшевой портьерой, а на полу лежал ковёр с таким длинным ворсом, что ноги утопали в нём почти по щиколотку. Гросс сел в кресло за столом, закинул ногу на ногу и указал на стул напротив.

— Садись, — сказал он. — Мне нужна от тебя кое-какая информация.

Катарина села, чувствуя, как её спина выпрямляется сама собой, помимо воли. Это была старая привычка из приюта: когда перед тобой сидит тот, кто может тебя наказать, лучше выглядеть так, будто ты ничего не боишься, потому что страх — это слабость, а слабость наказывают быстрее, чем дерзость.

— Что ты умеешь? — поинтересовался он, раскладывая перед собой какие-то бумаги и не глядя на неё. — Читать, писать, считать?

— Да, — ответила Катарина. — Я умею всё из того, что вы перечислили. Сначала нас обучала сестра Колетт, а потом я училась сама по книгам, которые находила в приюте. Читаю по-французски и по-немецки, умею вести учёт.

Он поднял голову, и в его глазах мелькнуло то же любопытство, что и вчера, когда она вызвалась ехать вместо Ингрид. Это любопытство было похоже на интерес коллекционера, который нашёл среди хлама что-то, что, возможно, стоит сохранить, но ещё не решил, стоит ли.

— И рисовать, — добавила она, не дожидаясь следующего вопроса. — Я хорошо рисую. С детства.

Гросс молчал несколько секунд, и Катарина слышала, как в камине потрескивают дрова. Потом он встал, подошёл к сейфу, повернул ручку и достал оттуда старую, пожелтевшую, с карандашными пометками на полях карту. Он развернул её на столе и подвинул к ней.

— Нарисуй мне этот участок леса, — сказал он. — Все тропы, все овраги, все старые дороги, какие увидишь. Без ошибок.

Катарина посмотрела на карту и поняла, что он проверяет её не просто так. Этот участок леса, судя по пометкам, был тем местом, где Гросс, возможно, прятал свои секреты — оружие, деньги, а может быть, и что-то похуже. Она взглянула на него, потом снова опустила глаза.

— Мне нечем рисовать, — сказала она.

Он бросил на стол карандаш и лист чистой бумаги — хорошей, плотной, какой в приюте не было даже у мадам Дюваль. Катарина взяла карандаш, почувствовав его вес и гладкость

дерева, и начала рисовать. Она рисовала быстро и точно, перенося на бумагу каждую извилину тропы, каждый ручей и каждый холм, которые видела на карте. Когда она закончила, Гросс взял лист и долго рассматривал его, не говоря ни слова.

— Ты не просто рисуешь, — сказал он наконец. — Ты *видишь* то, что рисуешь, а это настоящая редкость.

Он спрятал рисунок в стол, а карту положил обратно в сейф. Катарина сидела, не шевелясь, и ждала, что будет дальше. Она не знала, чего ожидать — удара, приказа раздеться или, может быть, того, что он просто скажет ей уйти, но Гросс не сделал ничего из этого. Он подошёл к ней вплотную, взял её за подбородок двумя пальцами и поднял её лицо так, что она вынуждена была посмотреть ему в глаза.

— Я же сказал тебе не смотреть на меня, — произнёс он тихо, почти ласково, и от этой ласковости у Катаринины побежали мурашки по спине. — Ты забыла?

— Нет, — ответила она, и её голос не дрожал, хотя сердце колотилось так сильно, что она боялась, что он услышит этот стук. — Я просто хотела узнать, убьёте вы меня за это или нет.

Он улыбнулся той же пугающей улыбкой, что и вчера, и Катарина вдруг поняла, что эта улыбка не имеет никакого отношения к веселью. Это была улыбка человека, который нашёл игрушку, способную удивить его, а удивление в его жизни случалось так редко, что он был готов растянуть удовольствие от него насколько возможно.

— Ты дерзкая девчонка, — сказал он, отпустив её подбородок и отходя к окну. — Или глупая, ха-ха, я пока не решил, но ты мне определённо нравишься. Это плохо для тебя.

Он повернулся к ней спиной, и Катарина увидела, как его плечи напряжены под тканью пиджака. В этом напряжении было что-то странное, несоответствующее его холодному тону и безразличным глазам. Она не знала тогда, что Вольфганг Гросс никогда не поворачивается к людям спиной, если не проверяет их — не хочет ли кто-то ударить, не тянется ли рука к ножу.

Он отпустил её через час, не прикоснувшись больше ни разу. Катарина вернулась в комнату к девочкам и легла на кровать, чувствуя во всём теле странную дрожь, которую она не могла объяснить ни голодом, ни холодом, ни страхом. Это была дрожь человека, который только что увидел своё отражение в глазах мёртвого животного и не отшатнулся.

— Он тебя тронул? — шёпотом спросила Ингрид, присев на её кровать.

— Нет, — ответила Катарина. — Пока нет.

— Что с нами будет, Кэтти? — Ингрид тихонько всхлипнула, — мы совсем не будем заниматься переводами и письмами, как говорила мадам Дюваль, да? Он будет мучать нас?

— Не знаю, милая. Я точно знаю только одно — нужно делать так, как он говорит, и стараться привлекать меньше его внимания, ибо это чревато. Будем как призраки, Ингрид, бесплотные и прозрачные призраки, которых не заметить в солнечный день. А потом, когда он расслабится и перестанет так пристально следить за нами — убежим прочь. Мы сбежим, Ингрид, спасёмся, а там будь что будет.

Она закрыла глаза и попыталась заснуть, но перед её внутренним взором всё стояло лицо Вольфганга Гросса — его острые скулы, родинка под левым глазом и та странная, почти нежная улыбка, с которой он сказал: «Ты мне нравишься. Это плохо для тебя».

## Глава 3

Весь следующий день девочек продержали в комнате, изредка позволяя им сходить в туалет и попить воды. Некоторые из сирот просто лежали в кроватях, смиренно ожидая своей участи, некоторые не переставали плакать, и их лица распухли от слёз, сёстры Лотта и Грета тихо переговаривались между собой, планируя побег, Катарина же в напряжении ждала, что будет дальше, и в тайне присматривала за Ингрид, которая была ни жива, ни мертва и отвлекалась чтением, как и всегда. Вечеринка, о которой говорил Гросс, началась ровно в восемь часов, и Катарина поняла, что он из тех людей, для которых точность является не просто привычкой, а оружием. Ровно в восемь она услышала, как внизу хлопнула входная дверь, потом ещё раз, и ещё, и ещё, и каждый хлопок отдавался в её груди глухим ударом, как будто кто-то считал секунды до конца света. Гости приехали на двух машинах — чёрном «Мерседесе» и тёмно-зелёном «Рено», который, судя по звуку мотора, был намного старше первого и наверняка возил своего хозяина ещё во время оккупации, и Катарина, стоя у окна на втором этаже, насчитала пятерых мужчин, которые вышли из автомобилей и скрылись за дверью.

Девочек начали готовить за час до приезда гостей, и эта подготовка напоминала Катарине чистку скота перед ярмаркой, хотя она никогда не была на ярмарке и видела скот только на картинках в старом журнале, который когда-то нашла на чердаке приюта. Мишель принесла в их комнату таз с горячей водой, кусок серого мыла, пахнущего щёлоком, и несколько полотенец, таких старых и жёстких, что они царапали кожу, как наждачная бумага. Девочки мылись по очереди, стоя на коленях перед тазом и стараясь не расплескать воду на пол, потому что Пьер, который пришёл проверить, как идёт подготовка, предупредил, что Гросс не терпит грязи и что мокрый пол может стоить кому-нибудь из них нескольких зубов.

Катарина мылась последней, потому что уступала очередь младшим, и когда её золотистые волосы, намочив, потемнели и прилипли к спине, она вдруг увидела себя в маленьком осколке зеркала, который висел на стене над тазом. Это зеркало было разбито, и в нём отражались только её глаза — карие, широко раскрытые, с крошечными золотистыми крапинками вокруг зрачка, которые появлялись только когда она сильно волновалась или боялась. Сейчас она боялась так, как не боялась никогда в жизни, даже в тот момент, когда мать уходила из дома, оставляя её одну посреди разбросанных вещей и запаха чужих духов.

Мишель расчесала её волосы деревянным гребнем, который хранила в кармане фартука, и Катарина почувствовала, как старухины пальцы, шершавые и тёплые, осторожно распутывают колтуны и укладывают пряди так, чтобы они падали на плечи мягкими волнами. Никто не трогал её волосы с тех пор, как она покинула приют, и это прикосновение, такое неожиданно нежное и чужое одновременно, вызвало у неё комок в горле, который она проглотила с большим трудом, потому что плакать сейчас было нельзя.

— Ты красивая девчонка, когда умытая, — сказала Мишель негромко, чтобы другие не слышали. — Только очень худая. Ешь больше, деточка, если не хочешь, чтобы тебя отдали первому, кто предложит самую низкую цену.

Катарина не ответила. Она смотрела в разбитое зеркало на себя — восемнадцатилетнюю девушку с золотистыми волосами, карими глазами и россыпью веснушек на носу, которые в приюте казались ей уродством, а сейчас вдруг стали выглядеть почти красивыми, и думала о том, сколько ещё раз ей придётся смотреться в это зеркало перед тем, как она совсем перестанет узнавать своё отражение.

Одежду им выдали прямо перед выходом: простые чёрные платья без рукавов, слишком короткие для такого холодного ноября, и грубые кожаные туфли на низком каблучке, которые натирали ноги, но были единственной обувью, кроме той, в которой они приехали. Платья пахли нафталином и чем-то сладковатым, как духи старой женщины, и Катарина подумала, что

эти платья уже надевали до них другие девочки — те, кто, возможно, уже никогда не наденет никакой одежды, потому что лежит в мягкой нормандской земле, в одном из тех оврагов, о которых говорила Мишель.

Гросс пришёл за ними сам, и это было необычно, потому что, как успела заметить Катарина за два дня, он предпочитал посылать других для выполнения неприятных поручений. Сегодня, однако, он был в хорошем настроении, по крайней мере, в том смысле, который он сам вкладывал в это понятие. Он надел серый костюм, от которого пахло дорогим табаком и ещё чем-то древесным, возможно сандалом или кедром, и его русые волосы были аккуратно зачёсаны назад и смочены бриолином, отчего ярко блестели при свете лампы. Он прошёлся по комнате, оглядывая девочек тем же бесстрастным взглядом, который Катарина уже начинала узнавать, и ни на ком из них его взгляд не задержался дольше, чем на секунду.

— Вы будете стоять в гостиной вдоль стены и не двигаться, пока вас не позовут, — сказал он, и его голос звучал спокойно и ровно, как будто он давал указания о сервировке стола, а не о судьбе пятнадцати молодых женщин. — Мои гости — люди занятые, и они платят за своё время хорошие деньги, поэтому постарайтесь не заставлять их ждать и не разочаровывать их своим поведением. Если кто-то из них обратится к вам, вы ответите вежливо, но коротко, и ни в коем случае не начинайте разговор первыми. Никаких жалоб, никаких слёз, никаких просьб о помощи — запомните это раз и навсегда. Любой, кто нарушит это правило, пожалеет о том, что родился на свет, потому что я не знаю сострадания, а мои способы наказания очень изобретательны.

Девочки закивали, и Катарина увидела, что Ингрид, стоящая рядом с ней, дрожит всем телом, как осиновый лист на ветру. Она взяла подругу за руку и сжала её пальцы, надеясь передать хотя бы часть своего спокойствия, хотя сама она вовсе не была спокойна — она была просто оцепеневшей от страха, как человек, который знает, что его сейчас ударят, и уже не может ни убежать, ни защититься.

Гостиная, куда их привели, оказалась большой комнатой с высокими потолками, паркетным полом и стенами, обитыми тёмно-зелёным бархатом, который на ощупь был мягким и прохладным, как шкура рептилии. В центре комнаты стоял длинный стол, накрытый белой скатертью, с хрустальными бокалами и серебряными приборами, и Катарина, которая никогда не видела такого богатства даже на картинках, невольно задержала взгляд на этих бокалах, вспомнив, что в приюте они пили из жестяных кружек, из которых даже чистая вода пахла ржавчиной. Гости уже сидели за столом — пятеро мужчин разного возраста и внешности, и все они были одеты так же хорошо, как сам Гросс, а один из них, самый молодой, с рыжеватыми волосами и веснушками, которые делали его похожим на большого мальчика, даже носил галстук-бабочку, что в сорок девятом году было такой же редкостью, как американские колготки на нормандском базаре.

— А вот и наше пополнение, — сказал Гросс, входя в комнату следом за девочками и жестом указывая им на стену, у которой они должны были встать. — Тринадцать свежих штук, прямо из приюта святой Бригитты. Немецкие, все до единой, потому что немецкие девушки, как мне сказали, сейчас в большой моде, ведь они не умеют жаловаться и делают всё, что им прикажут без лишних вопросов. Война, знаете ли, приучила их к дисциплине и послушанию. Как вам такое, господа? Лично я в полном восторге.

Мужчины за столом засмеялись, и этот смех, сытый и непринуждённый, как смех людей, которые никогда не знали голода и холода, показался Катарине самым страшным звуком, который она слышала в своей жизни. Он был страшнее, чем слова Мишель об оврагах, страшнее, чем взгляд Гросса, потому что он означал, что эти люди не просто знают, что происходит — они ещё и находят в этом повод для веселья, как будто торговля людьми была шуткой, а не преступлением, за которое в другое время и в другой стране могли бы расстрелять.

Вечеринка длилась несколько часов, и Катарина потом не могла вспомнить их все целиком, потому что время в тот вечер текло странно — то сжималось до нескольких секунд, то растягивалось до бесконечности, как жевательная резинка, которую она однажды нашла на улице и пыталась жевать, пока та не стала безвкусной и серой. Мужчины пили шампанское, которое Пьер разливал в хрустальные бокалы, потом перешли на коньяк, и их разговоры стали громче, а жесты — развязнее. Кто-то из гостей, тот, что постарше, с седыми висками и красным лицом, подозвал к себе Лотту и велел ей сесть к нему на колени, и Лотта села, не проронив ни звука, хотя Катарина видела, как дрожат её руки, когда она поправляла юбку, чтобы не задрапалась слишком высоко. Другой гость, худой и бледный, с глазами, бегающими и влажными, как у рыбы, выбрал себе Грету, младшую сестру Лотты, и увёл её в соседнюю комнату, и оттуда через несколько минут послышался звук, который Катарина не сразу смогла идентифицировать, а когда смогла — её затошнило. Это был плач, тихий, сдавленный, как будто человек плачет в подушку или в свои собственные сложенные ладони, чтобы никто не услышал.

Ингрид стояла рядом с Катариной, вжавшись в неё плечом, и её лицо было белым, как самая дорогая в Руане бумага. Она не плакала, она уже прошла через эту стадию, теперь она просто смотрела на происходящее широко открытыми глазами, в которых была только пустота, которая наступает, когда человек перестаёт верить в то, что может что-то изменить, и принимает свою судьбу с тем же отчаянием, с каким умирающий принимает смерть.

Гросс выбрал себе девочку только ближе к полуночи, когда большинство гостей уже разошлись по комнатам с теми, кого они выбрали, и в гостиной остались только он, трое мужчин, которые ещё допивали коньяк, и пять девочек, включая Катарину и Ингрид. Он медленно прошёлся вдоль стены, осматривая оставшихся, и остановился напротив Ингрид, взяв её за подбородок и повернув её лицо сначала в одну сторону, потом в другую, как он уже делал это в приюте.

— Это кукольная девочка, которая падает в обморок, когда на неё смотрят, — сказал он, обращаясь к одному из гостей, тому самому, с рыжеватыми волосами и галстуком-бабочкой. — Тебе нравятся такие, Антуан? Нежные, хрупкие, с большими глазами, которые смотрят на тебя, как умирающая лань, когда ты подходишь к ней с ножом? Я знаю твои вкусы, Антуан, и эта девочка — именно то, что ты любишь.

Антуан, которому было на вид не больше двадцати пяти, покраснел и отвернулся, но Катарина заметила, как его взгляд скользнул по Ингрид и задержался на её шее — тонкой, белой, с голубой жилкой, которая билась под кожей, как испуганная птица в клетке.

— Я не знаю, Вольфганг, — ответил смущённо Антуан, и его голос дрожал, хотя он явно старался этого не показывать. — Может быть, она слишком молода для меня или, может быть, я просто не в том настроении сегодня, чтобы выбирать.

— Слишком молода для того, чтобы трахать, но не слишком молода для того, чтобы купить, — усмехнулся Гросс, и в этой усмешке было столько цинизма, что Катарина почувствовала, как у неё свело живот от отвращения. — Не притворяйся святым, Антуан, потому что я знаю, какие рисунки ты хранишь в своём сейфе, и поверь мне, эти рисунки не имеют никакого отношения к святости. Эта девочка — твой тип, и ты это знаешь не хуже меня. Скажи спасибо, что я вообще предлагаю, а не продаю с аукциона, потому что на аукционе за неё дали бы в три раза больше... Ну ладно, не хочешь — как хочешь, тогда сегодня я буду её кавалером.

Ингрид, которая до этого момента стояла неподвижно, как статуя, вдруг покачнулась, и Катарина, стоявшая рядом, успела подхватить её за талию за секунду до того, как она упала. Обморок был неглубоким — Ингрид не потеряла сознание полностью, но её глаза закатились, и она начала сползать по стене вниз, тяжело и медленно, как мешок с мокрой мукой, которую несут на спине уже несколько километров. Катарина удержала её, прижала к себе и почувствовала, как сердце подруги колотится где-то у её рёбер, быстро и неровно, как сердце загнанного в угол зверька, который уже не надеется спастись.

— Verdammtе, ну неужели опять, — протянул Гросс, глядя на Ингрид с откровенным раздражением, которое, как показалось Катарине, было даже сильнее, чем его обычное равнодушие. — Она что, падает в обморок каждый раз, когда мужчина смотрит на неё с интересом? Долго ли она так протянет, спрашиваю я себя? Месяц, от силы два, а потом либо умрёт от страха, либо превратится в овощ, который никому не будет нужен даже даром, ведь девчонку нельзя посадить на грядке и ждать, пока она заколосится и окрепнет.

— Возьмите меня вместо неё, господин Гросс, — сказала Катарина, и она произнесла эти слова так тихо, что сначала никто не расслышал. Тогда она повторила громче, глядя на Гросса, но не в глаза, а куда-то в сторону, потому что помнила его запрет.

— Возьмите меня вместо неё... Она не выдержит, вы же видите, что не выдержит. А я выдержу. Я сильнее неё и буду делать всё, что вы скажете, без слёз и без обмороков.

В комнате стало тихо. Даже мужчины, которые допивали свой коньяк, перестали пить и повернулись к Катарине, как будто увидели нечто необычное — дрессированную собаку, которая заговорила человеческим голосом, или цирковую лошадь, которая вдруг начала танцевать вальс. Гросс смотрел на неё с выражением, которое Катарина не могла прочесть: в нём было и удивление, и раздражение, и что-то ещё, что-то более сложное, похожее на интерес человека, который думал, что уже всё видел, но вдруг понял, что ошибся.

— Ты, — сказал он наконец, и его голос прозвучал ниже обычного, почти вкрадчиво. — Ты снова здесь со своим бессмысленным геройством, Tierchen. Ты думаешь, что если пожертвуешь собой ради подружки, то станешь героиней, и все будут плакать над твоей судьбой и ставить тебя в пример своим детям? Но я должен тебя разочаровать, потому что героини, как правило, умирают первыми, они не доживают до финала своей собственной истории. А те, кто всё же выживает, никогда не рассказывают о своих подвигах, потому что им стыдно за то, что они сделали, чтобы выжить, и за то, от чего отказались во имя этого выживания.

— Я не хочу быть героиней, господин Гросс, и я не совершаю подвига, — ответила Катарина, и её голос прозвучал твёрже, чем она ожидала, хотя внутри у неё всё тряслось, как желе на тарелке, которую неосторожно вынули из холодильника. — Я просто не хочу, чтобы моя подруга умерла у меня на руках сегодня ночью или завтра утром, а я буду потом всю жизнь помнить, что могла это предотвратить и не предотвратила, потому что испугалась за себя. Возьмите меня вместо неё, и я сделаю всё, что вы скажете, без вопросов, без слёз и без обмороков, клянусь вам своей жизнью.

Гросс смотрел на неё ещё несколько секунд, и Катарина чувствовала, как его взгляд проходит по её лицу, по шее, по рукам, которые она держала вдоль тела, по платью, которое обтягивало её слишком худую фигуру, подчёркивая все те места, где она была недостаточно округлой для своего возраста.

— Ты мне не интересна, надеюсь, ты знаешь это, — сказал, наконец, он с таким выражением, как будто говорил, что сегодня вторник или что за окном идёт дождь. — Ты слишком стара для моих обычных клиентов, слишком худая и слишком дерзкая, а дерзкие женщины создают проблемы, потому что со временем они перестают быть послушными. Я не люблю проблем, и я не люблю дерзких женщин, поэтому ты абсолютно не в моём вкусе, и, честно говоря, я не понимаю, зачем я вообще соглашаюсь на эту замену. Но раз уж ты так настаиваешь, раз уж ты готова рисковать собой ради этой девчонки, которая всё равно умрёт в ближайшие месяцы от того, что у неё слишком слабое сердце для этого мира, — иди наверх и жди меня в моей спальне. Та, что справа от лестницы, не перепутай, потому что слева моя оружейная, и, если ты войдёшь туда, я буду вынужден тебя убить просто из принципа.

Он повернулся к Ингрид, которая уже пришла в себя и смотрела на него широко раскрытыми глазами, полными ужаса, и добавил, не глядя на Катарину:

— А ты сегодня ночью будешь спать в своей комнате с остальными, потому что твоя подруга только что купила тебе ещё один день жизни своим геройством, которое я нахожу ско-

рее раздражающим, чем благородным. Пользуйся этим днём с умом, потому что таких подарков судьбы больше не будет.

Он щёлкнул пальцами, и Пьер, который всё это время стоял у двери с бесстрастным лицом, подошёл к Ингрид и взял её за локоть, чтобы вести в комнату девочек. Ингрид попыталась вырваться, посмотрела на Катарину, и в её глазах было столько отчаяния и благодарности одновременно, что у Катарины на секунду перехватило дыхание, но она уже повернулась и пошла к лестнице, потому что если бы она остановилась и посмотрела на подругу ещё раз, то, возможно, не смогла бы сделать то, что нужно было сделать, а нужно было идти, идти в спальню этого человека, который только что сказал ей, что она его не интересует.

Спальня Гросса оказалась большой комнатой с двуспальной кроватью под балдахином, тяжёлыми портьерами на окнах и камином, в котором горел огонь, отбрасывая на стены весёлые пляшущие тени. Катарина села на край кровати, положив руки на колени, и стала ждать, считая удары своего сердца, чтобы не сойти с ума от страха. Она насчитала триста двадцать ударов, прежде чем дверь открылась и вошёл Гросс.

Он уже снял пиджак и галстук, и его рубашка была расстёгнута на две верхние пуговицы, открывая шею и ключицы, на которых Катарина заметила несколько шрамов — старых, побелевших, похожих на следы от ожогов или, возможно, от ударов кнутом. В руке он держал бутылку коньяка, которую отставил на туалетный столик, не сделав ни глотка, он просто нёс её с собой, как человек, который привык иметь под рукой то, что может понадобиться в любую минуту, и подошёл к ней, остановившись в трёх шагах.

— Разденься, — сказал он, и Катарина услышала в его голосе не приказ и даже не интерес, а глубокую скуку человека, который делает что-то по обязанности, потому что обещал, а не потому, что хочет.

Она начала расстёгивать платье, и её пальцы, которые ещё минуту назад были совершенно спокойны, вдруг задрожали так сильно, что она не могла удержать пуговиц. Это был не страх перед тем, что с ней сделают — она уже приготовилась к худшему, а страх перед унижением, перед тем, что он увидит её тело, такое худое и некрасивое, и только убедится в том, что она его не интересует и никогда не будет интересоваться. Гросс смотрел на неё, не помогая и не торопя, и в его взгляде сквозило только то же скучающее любопытство, с которым он рассматривал её в приюте, когда называл старой и худой.

Когда платье упало на пол, Катарина осталась в одной сорочке — тонкой, почти прозрачной, которую ей выдали вместе с остальной одеждой, но которая, как она теперь понимала, была частью униформы, предназначенной не для тепла, а для того, чтобы подчеркнуть то, что нужно подчеркнуть, и скрывать то, что скрывать было не обязательно. Гросс подошёл ближе и провёл пальцем по её ключице, легко, почти невесомо, как будто пробовал кожу на ощупь или, скорее, как будто проверял, настоящая ли она, а не кукла, сделанная из воска и папье-маше.

— Ты и правда худая, — сказал он задумчиво, как будто размышлял вслух о чём-то, что его не касается. — Ребра торчат, позвоночник как пила... Грудь почти нет, бёдра как у мальчишки. Я совершенно не понимаю, зачем я вообще согласился на эту замену, честное слово, и на кой чёрт я трачу на тебя свой хлеб, Tierchen. Ты не в моём вкусе, ты вообще ни в чьём вкусе, кроме разве что какого-нибудь извращенца, который любит морить женщин голодом и смотреть, как они умирают от истощения.

— Я не просила вас соглашаться, господин Гросс, — проговорила Катарина, и внутри у неё всё кричало и просило пощады. — Вы могли сказать нет, и я ушла бы обратно в комнату девочек, а Ингрид пошла бы с Антуаном или с кем-то ещё. Вы сами выбрали меня, даже если я вам не нравлюсь.

Он посмотрел на неё с лёгким удивлением.

— Выбрал, — повторил он, как будто пробуя это слово на вкус. — Да, выбрал. Но не потому что ты мне нравишься, и не потому что я тебя хочу, а потому что мне стало любопытно,

что будет дальше. Я обычно не беру к себе тех, кто мне неинтересен, но в тебе есть что-то, что я не могу понять, и это меня раздражает. Ты не боишься меня так, как должны бояться, ты говоришь со мной так, как не говорят с человеком, который может тебя убить одним движением пальца, и ты жертвуешь собой ради подруги, хотя знаешь, что это ничего не изменит и что её всё равно продадут, как только ты надоешь мне или умрёшь. Это глупо, и я хочу понять, откуда берётся такая глупость.

Он отошёл от неё, упал в кресло у камина и закинул ногу на ногу, глядя на неё из полумрака, в котором огонь рисовал на его лице жёлтые и красные пятна, делая его похожим на маску древнего бога, которому приносят жертвы, чтобы он не разгневался.

— Можешь надеть платье обратно, — сказал он, махнув рукой. — Как я уже сказал, ты меня не интересуешь, и я не настолько пьян, чтобы трахать то, что не хочу. Но раз уж ты здесь, всё равно здесь, так и быть, можешь посидеть со мной. Выпей коньяка. Тебе нужно набрать вес, если ты хочешь, чтобы тебя вообще кто-то когда-нибудь купил, а не выбросил на помойку как бракованный товар.

Он протянул ей бокал, и Катарина взяла его дрожащей рукой, чувствуя, как тепло от стекла проникает в пальцы, и сделала маленький глоток. Коньяк обжёг горло, и она закашлялась, а Гросс усмехнулся так весело, как будто её кашель был единственным развлечением в этот скучный вечер, который тянулся так долго, что, казалось, никогда не кончится.

— Ты даже пить не умеешь, Tierchen, — сказал он, покачивая бокал в своей руке и наблюдая за тем, как коньяк стекает по стенкам. — Чему вас только учили в этом приюте? Рисовать, плакать и падать в обморок при виде мужчины? Бесплезные глупые девчонки.

— Меня учили выживать, господин Гросс, — ответила Катарина, вытирая с глаз слёзы, которые выступили от кашля, и чувствуя, как по телу разливается приятное тепло от коньяка, смешанное с холодом страха, который никак не хотел отпускать её. — Всему остальному, включая умение пить и не падать замертво, я пыталась научиться сама, потому что в приюте не было никого, кто мог бы меня научить.

Он посмотрел на неё долгим внимательным взглядом.

— Выживать, значит, — повторил он медленно, растягивая слова, как будто пробовал их на вкус. — Хорошее умение, я тебе скажу. В этом мире только те и выживают, кто умеет приспособливаться, а ты, кажется, умеешь. Посмотрим, как долго это умение прослужит тебе в моём доме, где приспособливаться к новым обстоятельствам приходится каждый день, и где те, кто не успевает, исчезают быстрее, чем ты успеваешь моргнуть.

Он отвернулся к камину, допил свой коньяк одним глотком и поставил бокал на каминную полку, где уже стояло несколько таких же пустых бокалов, образующих неровную шеренгу, похожую на солдат, которые проиграли битву и теперь ждут, когда их уберут с поля боя.

— Ложись спать, — сказал он, не оборачиваясь. — Завтра у тебя будет много работы, и тебе понадобятся силы, чтобы её выполнить. Я не люблю, когда мои слуги падают с ног от усталости, потому что это мешает им работать качественно, как я люблю.

Катарина легла, не раздеваясь, на самый край кровати, оставляя между собой и тем местом, где должен был лечь Гросс, огромное пустое пространство, которое казалось ей безопасным, хотя она понимала, что никакое пространство не может быть безопасным в доме этого человека. Она долго лежала с открытыми глазами, глядя в потолок, на котором камин отбрасывал узоры, похожие на паутину, и слушая, как потрескивают дрова и как где-то, в комнате девочек, тихо плачет Ингрид.

Гросс так и не лёг в ту ночь — он сидел в кресле у камина, подбрасывая в огонь поленья, когда те начинали догорать, и Катарина, засыпая под утро, видела его профиль на фоне догорающих углей: острые скулы, прямой нос, родинка под левым глазом, и в последний момент перед тем, как провалиться в сон, ей показалось, что он смотрит на неё. Не так, как смотрят на вещь или на врага, и не так, как смотрят на женщину, которую хотят, а так, как смотрят на

загадку, которую не могут разгадать, и это злит их до такой степени, что они готовы уничтожить загадку, лишь бы не признать своё бессилие перед ней.

Она заснула с этой мыслью, и ей приснился зимородок, которого она рисовала на стене приюта. Только в этом сне зимородок был мёртв — он лежал на боку, раскинув крылья, и его зелёные перья были испачканы грязью и, кажется, кровью, хотя откуда кровь могла взяться у птицы, Катарина не знала. Она смотрела на него и не могла заплакать, потому что во сне плакать труднее, чем наяву, а может быть, потому что она уже выплакала все свои слёзы ещё тогда, когда мать бросила её на полу посреди разбросанных вещей и ушла, даже не обернувшись.

Она проснулась от того, что кто-то тронул её за плечо, и открыла глаза, ожидая увидеть Гросса, но это была Мишель, которая пришла разбудить её к завтраку. Гросса в комнате уже не было, и на том месте, где он сидел ночью, осталась только пустая бутылка из-под коньяка и пепел от сигарет, который ветер из приоткрытого окна разнёс по всему ковру, как будто кто-то рассыпал мелкий серый снег посреди тёплой комнаты.

— Вставай, деточка, — сказала Мишель, и в её голосе послышалась вековая усталость человека, который видел слишком много таких ночей, чтобы хоть как-то реагировать на одну из них. — Завтрак через полчаса, а тебе нужно умыться и переодеться, потому что сегодня ты начинаешь работать. Господин Гросс сказал, что ты будешь прислуживать ему за столом и убирать в его кабинете.

Катарина села на кровати, чувствуя, как всё тело болит от того, что она спала в неудобной позе, не раздеваясь и не снимая туфель. Она посмотрела на пустое кресло у камина, на пепел на ковре, на бутылку из-под коньяка, и вдруг поняла, что ни капельки не боится этого человека. Она не знала, хорошо это или плохо, не знала, поможет ли ей это выжить или, наоборот, убьёт быстрее, чем страх, но она знала одно: Вольфганг Гросс, который смотрел на неё ночью как на загадку, был не тем, кого нужно бояться. Он был тем, кого нужно понимать, потому что единственный способ выжить в доме хищника — это стать для него не жертвой, а чем-то другим, чем-то таким, что он не захочет убивать, по крайней мере до тех пор, пока не разгадает. Она должна быть интересной для него, и этот интерес не должен угасать в нём ни на минуту.

И Катарина решила, что она станет для него этой загадкой, станет для него чем-то таким, что он не сможет понять, и это непонимание будет держать её в живых дольше, чем любая хитрость или мольба о пощаде.

## Глава 4

Гросс, как и обещал, не тронул её в ту ночь и не проявлял к ней никакого интереса в последующие дни, и это равнодушие, как ни странно, оказалось для неё менее страшным, чем она ожидала, потому что она боялась не его безразличия, а его внимания. Она видела, что происходит с девочками, которые привлекали его внимание, например, с Лоттой, которую он выбрал для себя через несколько дней после вечеринки и которая теперь ходила с синяками на запястьях и плакала по ночам так тихо, что её слёзы можно было принять за шум дождя за окном.

Проснувшись на следующий день после вечеринки, Катарина обнаружила, что Гросс уже уехал по делам в Руан и что её обязанности на сегодня, как объяснила Мишель, сводились к уборке в его кабинете и помощи на кухне. Она мыла полы, вытирала пыль с книжных полок, которых в кабинете оказалось три огромных шкафа, полных книг на немецком, французском и английском языках, и перебирала бумаги, которые Гросс оставил на столе в таком порядке, который казался хаотичным, но на самом деле, как поняла Катарина, был результатом очень специфической системы, доступной только самому хозяину кабинета. Книги, к её удивлению, были не только по военному делу и экономике, как она ожидала, но и по философии, истории и даже поэзии — на одной из полок она обнаружила томик Рильке, такой зачитанный, что страницы в нём держались на честном слове и молитве.

Это открытие поразило её больше, чем любая жестокость, свидетелем которой она уже успела стать. Человек, который торговал оружием и людьми, который говорил о девочках как о товаре и который смотрел на мир с такой пугающей пустотой в глазах, читал Рильке. И не просто читал — судя по состоянию книги, он перечитывал её много раз, возможно, даже знал наизусть целые строфы. Катарина стояла перед книжным шкафом с томиком в руках и чувствовала, как её прежнее представление о Гроссе трескается по швам, как старая штукатурка на стенах этого дома, за которой скрывается что-то другое, что-то, чего она не могла разглядеть с первого взгляда, но что начинало проступать всё явственнее с каждым днём.

Вернулся Гросс только к вечеру, усталый и, судя по запаху, слегка пьяный, потому что в Руане, как потом рассказала Мишель, у него был ресторан «Чёрный ангел», где он проводил большую часть времени, когда не занимался своими более тёмными делами. Он бросил пальто на колченогий стул в прихожей, даже не посмотрев в сторону Катарини, которая мыла пол в коридоре на коленях, и сказал, проходя мимо:

— Завтра в шесть утра ты будешь ждать меня в столовой с завтраком. Кофе чёрный, без сахара, два круассана, и чтобы они были горячими, а не вчерашними, как в прошлый раз, когда Мишель подсунула мне черствёрыш. И не смей смотреть на меня, когда будешь ставить поднос. Я сказал — не смотреть. Твои глаза должны быть на полу или на стене, но не на мне.

Это было первое прямое указание, которое он ей дал с той ночи, и Катарина, которая до этого момента не знала, чем ей заниматься и как себя вести, почувствовала странное облегчение от того, что наконец появились хоть какие-то правила, даже если эти правила были унижительными и пугающими. Она ненавидела неопределённость больше, чем любую жестокость, потому что жестокость можно было предвидеть и подготовиться к ней, а неопределённость была как туман, в котором можно сломать шею, просто сделав не тот шаг.

На следующее утро она встала в пять, когда было ещё темно и по дому бродили только тени, и спустилась на кухню, где Мишель уже грела воду для кофе и доставала из духовки круассаны, которые пахли маслом и тем особенным детским счастьем, которое Катарина почти забыла, потому что в приюте круассаны подавали только на Рождество, и то маленькие, чёрствы́е, доставшиеся от щедрот местного священника.

— Ты должна поставить поднос ровно в шесть, ни минутой раньше, ни минутой позже, — сказала Мишель, нарезаая круассаны вдоль, чтобы положить в них тонкий слой масла. — Он не терпит опозданий, и он не терпит, когда его ждут. Если ты придёшь раньше, он подумает, что ты хочешь его о чём-то попросить или подглядываешь за ним. Если позже — он разозлится, а ты ещё не видела его по-настоящему злым, деточка, и, поверь мне, не хочешь увидеть. Я видела, и мне до сих пор снятся кошмары, хотя прошло уже пять лет.

Катарина отнесла поднос в столовую ровно в шесть, поставила на стол перед пустым стулом, за которым, как она предполагала, должен был сидеть Гросс, и отошла к стене, опустив голову и сложив руки перед собой, как её учили в приюте. Она простояла так десять минут, прежде чем Гросс вошёл в столовую — заспанный, с растрёпанными волосами и в халате тёмно-синего шёлка, который выглядел очень дорогим и который она никогда на нём раньше не видела.

Он сел за стол, не глядя на неё, пододвинул к себе кофе и круассаны и начал есть в полной тишине, которая нарушалась только звоном серебряной ложки о край чашки и шорохом круассана, когда он откусывал от него маленькие кусочки, как будто экономил каждый грамм. Катарина стояла у стены и смотрела в пол, стараясь не поднимать глаз, но краем зрения всё равно видела его руки — длинные пальцы, белые шрамы на костяшках, идеально чистые ногти, и почему-то именно эти руки пугали её больше всего, потому что она знала, что они могут делать с теми, кто его раздражает.

Когда он закончил завтрак, Вольфганг отодвинул чашку и впервые за утро посмотрел на неё, но не в лицо, а куда-то в район её колен, потому что она стояла с опущенной головой, и он не мог видеть её глаз, даже если бы захотел.

— Ты умеешь читать, — сказал он, и это было не вопросом, а утверждением, потому что он уже знал ответ. — И писать, и рисовать. Что ещё ты умеешь? Только не говори, что ты умеешь молиться, потому что это умение меня не интересует совершенно.

— Я умею шить, господин Гросс, готовить простые блюда и считать деньги, — ответила Катарина, не поднимая глаз. — В приюте нас учили только самому необходимому, но я училась сама по книгам, которые находила в деревенской библиотеке, пока меня не перестали туда пускать, потому что библиотекарь сказал, что немцам во французской библиотеке не место.

— Библиотекарь был глупцом, как и большинство людей, которые мыслят категориями национальности, а не выгоды, — сказал Гросс с холодным презрением. — Национальность — это случайность рождения, как цвет волос или форма носа. Ум и преданность, вот что имеет значение, а всё остальное — просто декорации, которые можно сменить при необходимости. Ты знаешь, что война закончилась четыре года назад и что немецкое происхождение больше не является преступлением, во всяком случае во Франции, где американцы тратят миллионы на то, чтобы всех помирить и заставить торговать друг с другом вместо того, чтобы воевать? Или ты продолжаешь считать себя виноватой за то, что сделали другие люди до того, как ты начала осознавать себя в этом мире?

— Я не считаю себя виноватой, господин Гросс, — ответила Катарина, и её голос прозвучал мягко и спокойно, потому что она уже начала привыкать к его манере говорить. — Я просто знаю, что другие люди считают меня виноватой, и это знание помогает мне выживать, потому что я не жду от них справедливости и не разочаровываюсь, когда они её не проявляют. В приюте нас научили одному очень полезному правилу: ожидание — это мать разочарования, а разочарование — мать смерти.

Он внимательно посмотрел на неё, и Катарина почувствовала, как этот взгляд скользит по её лицу, хотя она не поднимала глаз, она чувствовала его кожей, как чувствуют приближение грозы за несколько минут до того, как небо потемнеет.

— Ты говоришь интересные вещи для девочки, которая выросла в приюте и не получила никакого образования, кроме самообразования, — сказал он наконец. — Почти жаль, что ты

не родилась в другой стране и в другое время, когда из таких, как ты делали что-то полезное, а не продавали в бордели. Но история не знает сослагательного наклонения, как говорил один мой знакомый профессор перед тем, как его расстреляли за принадлежность к Сопротивлению. Так что ты будешь делать то, что я скажу, и не будешь мечтать о том, что могло бы быть, если бы мир был устроен иначе.

Он встал из-за стола, поправил халат и направился к двери, но на пороге остановился и добавил, не оборачиваясь:

— Сегодня после завтрака ты помоешь полы в моём кабинете и переставишь книги на полках, потому что вчера ты их поставила неправильно. Ты поставила Рильке рядом с Ницше, а Ницше не терпит соседства с поэтами, он считает их слишком слащавыми и поверхностными. Рильке должен стоять рядом с Гёте, а Ницше — рядом с Шопенгауэром, и если ты не знаешь, кто это такие, то в следующий раз, когда у меня будет свободная минута, я, возможно, расскажу тебе, чтобы ты больше не делала таких глупых ошибок. Но не рассчитывай на это, потому что свободные минуты у меня бывают редко, а желание учить прислугу — ещё реже.

Катарина опустила голову ещё ниже, чувствуя, как краска стыда заливает её щёки, потому что она действительно не знала, кто такой Шопенгауэр, и не понимала, почему Ницше не любит поэтов. Ей казалось, что она много читала и многому научилась, но сейчас, в его кабинете, среди этих книг, она чувствовала себя невежественной и глупой, как ребёнок, который только учится читать по слогам, и это чувство было почти таким же унижительным, как его замечания о её худобе.

В последующие дни её обязанности расширились: она не только убирала кабинет и подавала завтрак, но и сопровождала Гросса во время его редких обедов дома, стоя у стены с опущенными глазами и ожидая, когда он щёлкнет пальцами, чтобы она налила ему ещё вина или убрала пустую тарелку. Она научилась различать значение его жестов: щелчок указательным пальцем означал вино, щелчок средним — хлеб, а два коротких щелчка подряд — тишина, потому что он хотел есть без её присутствия, и она должна была выйти из комнаты и ждать за дверью, пока он не позовёт её обратно.

Она ненавидела эти щелчки, потому что они напоминали ей, что она не человек, а механизм, который можно включить и выключить по желанию хозяина, но она делала то, что он велел, потому что другого выбора у неё не было, и потому что она заметила, что чем меньше она сопротивляется, тем меньше он обращает на неё внимания, а чем меньше он обращает на неё внимания, тем спокойнее она может спать по ночам, не боясь, что он придёт в её комнату.

Через неделю её жизни в этом режиме произошёл случай, который заставил Катарину вспомнить, что Гросс остаётся жестоким человеком, даже когда он кажется равнодушным или рассеянным. Она убирала в его спальне, меняя простыни и вытряхивая пепельницы, когда в кармане его пиджака, висевшего на спинке стула, что-то звякнуло и упало на пол. Это был маленький ключ — старый, медный, с круглой головкой и замысловатой бородкой, которая говорила о том, что он открывает не простой замок, а что-то секретное. Катарина подняла ключ, положила его на туалетный столик и уже хотела продолжить уборку, когда дверь открылась и вошёл Гросс — раньше, чем она ожидала, и совершенно бесшумно, как он всегда это делал, потому что, как она заметила, он носил обувь на мягкой подошве, которая не скрипела даже на старом паркете.

— Что ты делаешь с моим ключом? — спросил он, и его голос звучал спокойно, но в этом спокойствии было что-то опасное, как в затишье перед грозой, когда воздух становится тяжёлым и трудно дышать.

— Я нашла его на полу, господин Гросс, и положила на столик, чтобы он не закатился под кровать, — ответила Катарина, низко опустив голову и чувствуя, как сердце колотится где-то у горла, перекрывая дыхание. — Я не знала, куда его положить, поэтому оставила там, где вы могли бы его увидеть, когда вернётесь.

Он подошёл к столику, взял ключ, повертел его в пальцах, и Катарина, не поднимая глаз, всё равно видела, как его пальцы сжимаются вокруг ключа с такой силой, что костяшки побелели. Он спрятал ключ в карман брюк и несколько секунд стоял неподвижно, глядя на неё сверху вниз, а потом сказал голосом, в котором была только холодная, расчётливая жестокость:

— Ты нарушила правило, которое я установил в первый же день. Ты прикоснулась к тому, что тебе не принадлежит, даже не спросив разрешения. В моём доме это наказывается, и ты знала об этом, потому что я предупреждал тебя, когда ты только приехала. Или ты думала, что мои предупреждения не распространяются на тебя, потому что ты такая умная и рисовала мне карту, Tierchen?

Катарина молчала, потому что не знала, что ответить. Она знала, что любое слово может быть истолковано как оправдание, а оправдания он, судя по всему, не терпел так же, как непослушания.

— Встань на колени, — велел он, и в его голосе не было сомнения или возможности отказаться.

Она опустила на колени прямо на паркет, чувствуя, как холодный пол отдаёт холодом через тонкую ткань платья, и сжала руки за спиной, как её учили в приюте, когда наказывали розгами. Она не знала, что он сделает: ударит единожды, выпорот, придумает что-то более изощрённое, но она готовилась к худшему, потому что в этом доме худшее было нормой.

Гросс подошёл к комоду, открыл верхний ящик и достал оттуда чёрный, узкий ремень с медной пряжкой на одном конце и несколькими отверстиями на другом. Катарина увидела его краем глаза и почувствовала, как внутри у неё всё оборвалось, потому что в приюте её никогда не били ремнём, только розгами, и она не знала, насколько это больно, но догадывалась, что больно будет очень.

— Ты получишь десять ударов, — сказал он, подходя к ней и останавливаясь так близко, что она почувствовала его древесный, горьковатый, с нотками табака запах одеколona. — По одному за каждое прикосновение к чужой вещи, хотя на самом деле ты прикоснулась только один раз, но я добавляю остальные девять за то, что ты не позвала Мишель и не спросила, что делать. Ты решила, что сможешь справиться сама, а это самонадеянность, а самонадеянность я наказываю отдельно.

Он отошёл на шаг и сложил ремень вдвое, так что получился короткий, жёсткий хлыст, и Катарина почувствовала, как её тело напряглось в ожидании первого удара.

— Наклонись вперёд и положи руки на пол, — сказал он, и в его голосе была только скука человека, который делает привычную работу, не испытывая от неё никаких эмоций.

Она наклонилась, положила ладони на холодный паркет и закрыла глаза, готовясь к боли. Первый удар пришёлся по спине, чуть ниже лопаток, и Катарина вздрогнула, но не вскрикнула, потому что в приюте её научили не кричать, когда бьют, ведь крик только разжигает жестокость, как масло разжигает огонь. Боль была острой, как будто по коже провели раскалённым железом, но она была не сильнее, чем боль от розог, которые она получала в приюте за то, что рисовала на стенах.

Второй удар пришёлся на то же место, и Катарина почувствовала, как её глаза наполняются слезами, но она сдержалась и не заплакала, потому что плакать при нём было бы худшим унижением, чем стоять на коленях голой перед его гостями. Третий удар был сильнее, и она не удержалась — тихий, сдавленный стон вырвался из её горла, прежде чем она успела его подавить.

— Тихо, — сказал Гросс, и в его голосе не было угрозы, а было только напоминание. — Если ты будешь кричать, я добавлю ещё пять ударов сверху.

Она закусила губу так сильно, что почувствовала вкус крови, и приготовилась к четвёртому удару. Он пришёлся ниже, почти на поясницу, и Катарина поняла, что Гросс бьёт методично, без спешки, как будто выполнял упражнение, в котором важна была не сила, а точность.

Пятый удар — снова по лопаткам, шестой — по пояснице, седьмой — туда же, и она уже перестала считать, чувствуя только глухую, пульсирующую боль, которая разливалась по всей спине, как горячая вода, пролитая на тонкую ткань.

На десятом ударе Гросс остановился. Он бросил ремень на кровать и отошёл к окну, встав к ней спиной, как будто то, что он только что сделал, было таким же обыденным делом, как завтрак или утренняя газета.

— Вставай и иди в свою комнату, — сказал он, не оборачиваясь. — Сегодня ты свободна от работы. Завтра в шесть утра ты будешь ждать меня в столовой с завтраком, как обычно. И в следующий раз, когда найдёшь что-то, что тебе не принадлежит, даже не смотри на это. Зови Мишель. Она знает, что делать с моими вещами, и у неё есть разрешение прикасаться к ним. У тебя такого разрешения нет, и не будет, пока ты не докажешь, что заслуживаешь доверия. А на это, я тебя предупреждаю, могут уйти годы, если, конечно, тебе повезёт, и ты доживёшь до этого чудесного момента.

Катарина поднялась с колен, чувствуя, как каждый сантиметр её спины горит огнём, и, не говоря ни слова, вышла из спальни. Она шла по коридору медленно, стараясь не делать резких движений, потому что каждое движение отзывалось болью, и когда она вошла в свою комнату, где Ингрид сидела на кровати и читала Бальзака, она не смогла сдержать слёз.

— Что он с тобой сделал? — прошептала Ингрид, бросаясь к ней и обнимая её, отчего Катарина зашипела от боли.

— Ничего страшного, — ответила Катарина, вытирая слёзы тыльной стороной ладони. — Всего десять ударов ремнём. В приюте меня били сильнее, ты же знаешь.

Она лгала, и Ингрид знала, что она лжёт, потому что в приюте их били розгами, но никогда — ремнём, и это была совсем другая боль, более глубокая и более унижительная, потому что розги были наказанием за проступок, а ремень был наказанием за то, что ты существуешь, дышишь и случайно находишь то, что не должна была находить.

Мишель пришла в их комнату через час с мазью, которая пахла травой и мёдом, и молча обработала спину Катарина, не задавая вопросов и не высказывая сочувствия. Она только сказала, когда закончила:

— В следующий раз, когда увидишь что-то, что тебе не принадлежит, даже не подходи к этому. Зови меня, и я решу, что делать. Он не тронет тебя, если ты позовёшь меня, потому что он знает, что я не возьму чужого, а если и возьму, то только с его разрешения. Ты должна научиться правилам этого дома, деточка, иначе ты не протянешь и месяца.

Катарина лежала на животе, положив голову на сложенные руки, и смотрела в стену, на которой было выцарапано имя Мишель и дата. Она думала о том, сколько девочек лежало здесь до неё, с такой же болью в спине и с таким же страхом в глазах, и сколько из них выжили, а сколько нет, и почему ей так повезло, что она прибыла сюда из приюта с умением читать и рисовать, и поможет ли ей это умение выжить в этом доме, где жестокость была такой же обыденной, как утренний кофе.

На следующее утро она встала в пять, как обычно, и отнесла поднос в столовую ровно в шесть, стараясь не смотреть на Гросса, когда ставила кофе на стол. Её спина болела, и каждое движение давалось с трудом, но она не показывала боли, потому что знала, что если он увидит её слабость, то, возможно, решит, что наказание не было достаточно суровым, и повторит его.

Гросс сел за стол, отпил кофе и сказал, даже не взглянув на неё:

— Сегодня после завтрака ты расставишь книги на полках. Я уже говорил тебе, как это делать: Рильке рядом с Гёте, Ницше рядом с Шопенгауэром. Если ты перепутаешь ещё раз, я накажу тебя снова, но в следующий раз ударов будет двадцать, и они будут не по спине, а по тому месту, на которое ты садишься, потому что сидеть тебе придётся много, а боль в этом месте напоминает о правилах лучше, чем любая словесная инструкция.

Катарина кивнула, не поднимая глаз, и вышла из столовой, когда он щёлкнул пальцами два раза, что означало «тишина и убирайся». Она шла по коридору в его кабинет, чувствуя, как каждый шаг отдаётся болью в спине, и думала о том, что этот человек не просто жесток, а жесток методично, с расчётом, как будто каждый удар, каждое унижение, каждое слово имеют свою цену и свою цель.

И эта продуманность пугала её больше, чем сама жестокость, потому что жестокость без причины можно было пережить, как бурю или землетрясение, а жестокость с причиной требовала от неё понимания этой причины, а понимать Гросса она пока не умела и не хотела, потому что боялась, что если поймёт его, то перестанет бояться, а если перестанет бояться, то, возможно, начнёт чувствовать что-то другое, что-то, что она не смела называть даже в своих самых потаённых мыслях.

Она расставила книги, как он велел, и когда закончила, обнаружила, что Гросс стоит в дверях кабинета и смотрит на неё. Она не знала, как долго он стоял там, но чувствовала на себе его взгляд — тяжёлый, изучающий, как взгляд хирурга перед операцией.

— На этот раз правильно, — сказал он и ушёл, не добавив ни слова похвалы, ни слова угрозы.

Катарина осталась одна среди книг, которые она расставила в идеальном порядке, и вдруг поняла, что её сердце колотится не от страха, а от чего-то другого — от облегчения, что она не ошиблась, от странной гордости, что она выполнила его задание правильно, и от этого понимания ей стало страшно ещё больше, чем от его ремня.

Потому что она начинала хотеть его одобрения.

## Глава 5

После наказания ремнём прошло три дня, и всё это время Катарина делала вид, что ничего не случилось, что боль в спине не мешает ей спать по ночам и что она не вздрагивает каждый раз, когда Гросс входит в комнату. Она подавала завтрак ровно в шесть, мыла полы в его кабинете, расставляла книги и ни разу не подняла глаз выше его подбородка, потому что запомнила урок: смотреть на него можно только тогда, когда он сам разрешит, а он пока не разрешал.

Гросс тоже вёл себя так, будто ничего не произошло. Он не упоминал о наказании, не извинялся и не объяснял своих действий, и Катарина не знала, таит ли он обиду или уже забыл о случившемся, как забывают о сломанной ветке, которую перешагнули на пути к более важным делам. Он завтракал, пил кофе, уезжал в Руан и возвращался поздно вечером, иногда трезвым, иногда слегка пьяным, и всякий раз, проходя мимо Катарины, говорил одно и то же: «Завтра в шесть, как обычно».

На четвёртый день после наказания, когда Катарина уже начала надеяться, что её жизнь вошла в предсказуемое русло, Гросс вернулся домой раньше обычного и в таком настроении, которое она не могла назвать иначе, как мрачным. Он не пил в этот вечер — по крайней мере, от него не пахло вином или коньяком, но его лицо было напряжённым, а глаза, которые обычно смотрели на мир с холодным равнодушием, сейчас были сужены и блестели, как у хищника, который выслеживает добычу и не уверен, что сможет её одолеть.

— Зайди в кабинет, — сказал он, проходя мимо Катарины, которая мыла посуду на кухне. — Через пять минут. Не раньше и не позже.

Она вытерла руки о фартук, поправила платье и ровно через пять минут постучала в дверь его кабинета. Он сидел за столом, перед ним лежала карта — не та, которую она рисовала в первый день, а другая, более старая, с карандашными пометками, сделанными разными почерками, и с пятнами, похожими на кофе или, возможно, на кровь, хотя Катарина не была в этом уверена и предпочла не думать о такой возможности.

— Сядь, — сказал он, указав на стул напротив себя. Она села, опустив голову и сложив руки на коленях. — На карте, которую ты нарисовала в первый день, была ошибка. Ты нарисовала тропу, которой не существует, и не нарисовала ту, которая существует. Я проверил. Мои люди прошли по этому маршруту и вернулись ни с чем, потому что твоя тропа упирается в болото, где никто не может пройти, а нужная тропа, которую ты пропустила, ведёт к старой мельнице, где можно спрятать товар так, что его не найдут даже с собаками.

Катарина подняла голову, забыв о запрете, и посмотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых читался неподдельный ужас. Она не могла ошибиться — она помнила карту, помнила каждую линию, каждую тень, каждую завитушку, потому что рисовала её с таким старанием, с каким рисовала только зимородка на стене приюта.

— Я не ошибалась, господин Гросс, — ответила она тихо, но твёрдо. — Я перерисовала вашу карту без изменений. Если там была ошибка, то она была в оригинале, а не в моей копии. Я не добавляла ничего от себя и не убирала ничего, что было нарисовано, я просто перенесла на бумагу то, что увидела.

Гросс смотрел на неё несколько секунд, и Катарина видела, как его пальцы, лежащие на столе, медленно сжимаются в кулак, а потом так же медленно разжимаются. Этот жест, такой контролируемый и такой пугающий своей сдержанностью, говорил ей о том, что он пытается справиться с гневом, который уже закипает где-то внутри него, и что если она скажет что-то не то, этот гнев прорвётся наружу с разрушительной силой.

— Ты утверждаешь, что я дал тебе карту с ошибкой и что мои люди зря потратили два дня, бродя по лесу в поисках несуществующей тропы, потому что я не умею читать собствен-

ные карты? — спросил он, и его голос был очень тихим, но в этой тишине было больше угрозы, чем в любом крике. — Ты утверждаешь, что Вольфганг Гросс, который занимается этим бизнесом пятнадцать лет и который знает каждый лес в радиусе ста километров лучше, чем свою спальню, дал тебе неправильную карту, чтобы ты нарисовала её неправильно, а потом он потратил время и деньги на проверку твоей работы, которая оказалась бесполезной?

— Я ничего не утверждаю, господин Гросс, — ответила Катарина, чувствуя, как холодный пот выступает у неё на спине, там, где ещё не зажали следы от ремня. — Я говорю только то, что рисовала точно по образцу. Если образец был правильным, то и рисунок правильный. Если образец был с ошибкой, то ошибка перешла на рисунок. Я не могу отвечать за то, что мне дали.

Он встал из-за стола, и Катарина невольно отшатнулась, но он не пошёл к ней, а подошёл к окну и встал так, что она видела только его спину — широкие плечи, напряжённые мышцы под тканью чёрной шёлковой рубашки, и то, как его руки сжаты в кулаки и прижаты к бёдрам, чтобы не сделать то, о чём он, возможно, потом пожалеет.

— Ты слишком умна для своего положения, Катарина Шмидт, — сказал он, не оборачиваясь. — Умные слуги опасны, потому что они начинают думать, а когда они начинают думать, они перестают быть послушными. Я не люблю непослушных слуг. Я их наказываю, продаю или убиваю, в зависимости от настроения и степени их вины. Ты пока не настолько виновата, чтобы я решил, что с тобой делать, но ты на верном пути к тому, чтобы переступить черту, после которой я уже не смогу остановиться.

— Я не хочу быть умной, господин Гросс, я хочу быть полезной. Если я ошиблась, скажите мне, как исправить ошибку, и я её исправлю. Если я не ошиблась, а ошибка была в оригинале, позвольте мне нарисовать новую карту, правильную, с той тропой, которая ведёт к мельнице, и без той, которая ведёт в болото.

Он повернулся к ней, и Катарина увидела его лицо — лицо человека, который борется с собой, и эта борьба делает его одновременно более живым и более страшным, чем обычно. Его глаза выглядели практически прозрачными на бледном, заострённом лице, и от этой нездоровой бледности родинка на щеке стала более яркой.

— Ты предлагаешь мне свои услуги, как будто мы партнёры по бизнесу, а не хозяйин и служанка, Tierchen — сказал наконец он, и в его голосе прозвучало что-то похожее на усмешку, но не издевательскую, а скорее удивлённую. — Ты знаешь, что я мог бы просто выпороть тебя за дерзость и забыть о карте, потому что у меня есть люди, которые нарисуют её во сто крат лучше, чем ты, и не будут спорить со мной о том, кто прав, а кто виноват?

— Могли бы, — согласилась Катарина, не опуская глаз, хотя помнила, что смотреть на него запрещено. — Но вы не выпороли меня, а спросили. Значит, вам нужен не исполнитель, который молча делает, что велят, а человек, который может найти ошибку и исправить её. Я могу быть для вас таким человеком, если вы позволите.

Гросс подошёл к ней, остановился в двух шагах, и Катарина почувствовала запах его одеколона — древесный, горьковатый, такой сильный, что у неё закружилась голова, а внутри, вопреки всем запретам, разгорелось что-то такое, что не подчинялось ей и не слушалось её приказов.

— Ты странная девчонка, — сказал он, и в его голосе было что-то новое, что-то, что она не могла определить, но что заставляло её сердце биться быстрее, а дыхание становиться прерывистым. — Ты боишься меня, и это видно, но ты не отступаешь. Тебя били ремнём, и ты знаешь, что я могу сделать это снова в любую минуту, но ты продолжаешь спорить и предлагать свои услуги, как будто мы с тобой равны. Подумать только! Я не знаю, что с тобой делать, ты не вписываешься ни в одну из категорий, которые я привык использовать для людей: ты не просто товар, потому что товар не спорит; ты не просто слуга, потому что слуги не предлагают; ты не враг, потому что враги не боятся. Ты — загадка.

— Тогда, может быть, вам стоит оставить меня в живых, чтобы разгадать эту загадку, господин Гросс, — сказала Катарина, и она сама не знала, откуда в ней эта смелость, которая, наверное, была настоящим отчаянием, потому что только отчаявшийся человек не боится смерти, а она, кажется, перестала бояться смерти где-то в ту самую минуту, когда поняла, что всё равно не выберется из этого дома живой.

Гросс усмехнулся.

— Хорошо, — сказал он, возвращаясь за стол и садясь в кресло. — Ты нарисуешь мне новую карту. Я дам тебе правильные данные, и ты нарисуешь так, как я скажу, без ошибок, без отсебятины, без попыток быть умнее, чем ты есть на самом деле, ясно? Если карта будет правильной, я забуду о твоей дерзости, ну а если будет ошибка — ты получишь двадцать ударов, и не по спине, а по тому месту, на которое ты садишься, чтобы каждый раз, когда ты будешь присаживаться, ты вспоминала, что бывает с теми, кто подводит Вольфганга Гросса.

Он открыл ящик стола, достал чистый лист бумаги, карандаш и карту — другую, не ту, что лежала перед ним, и положил всё это на край стола, ближе к Катарине.

— Рисуй, — сказал он. — Я буду диктовать.

Она взяла карандаш и стала рисовать, слушая его голос — низкий, чуть растянутый, с лёгким немецким акцентом, который становился заметнее, когда он уставал или был чем-то недоволен. Он диктовал медленно, чётко, называя расстояния, направления по компасу и ориентиры.

Катарина рисовала, и чем больше она рисовала, тем яснее понимала, что этот человек знает лес не просто хорошо — он знает его так, как знают только те, кто много лет прятал в нём что-то очень важное и очень опасное, и кто возвращался к этому месту много раз, чтобы убедиться, что тайна не раскрыта. Она не спрашивала, что спрятано на старой мельнице, потому что не хотела знать, но догадывалась, и эта догадка заставляла её пальцы дрожать, когда она проводила линии, обозначающие тропы и овраги.

Когда карта была готова, Гросс взял её, долго рассматривал, сравнивая с оригиналом, и кивнул.

— На этот раз правильно. Можешь идти.

Она встала, собираясь выйти из кабинета, но он остановил её, не поднимая головы от карты:

— Завтра в шесть утра, как обычно. И не забудь положить масло в круассаны, вчера ты забыла, и мне пришлось есть их сухими.

— Я не забыла, господин Гросс, — мягко ответила Катарина, остановившись у двери. — Вы сказали мне не класть масло, потому что в прошлый раз Мишель положила слишком много и круассаны были жирными, и я сделала так, как вы велели.

Гросс поднял голову и посмотрел на неё тем же долгим, изучающим взглядом, который она уже начинала узнавать и который, как ей казалось, был не просто осмотром, а чем-то более сложным, может быть, попыткой заглянуть внутрь неё, в её мысли, в её страхи, в её желания, которые она сама до конца не понимала.

— Ну надо же, всё-то ты запоминаешь, — пробормотал он. — Каждое моё слово... Это полезное умение, но опасное, потому что рано или поздно ты запомнишь что-то, что не должна была запоминать, и тогда тебе придётся умереть. Ты это понимаешь?

— Понимаю, господин Гросс, — ответила Катарина. — Но я надеюсь, что это случится не скоро, и что к тому времени я стану для вас настолько полезной, что вы не захотите меня терять.

Он усмехнулся, но промолчал, и Катарина вышла из кабинета, чувствуя, как её ноги дрожат, а сердце колотится где-то у горла, и понимая, что она только что прошла по краю пропасти и не сорвалась, но следующая прогулка может оказаться для неё последней.

Когда Катарина вернулась в комнату девочек после работы в кабинете, её пальцы всё ещё пахли графитом, а в голове кружились цифры и немецкие названия деревень, которые Гросс диктовал ей с такой лёгкостью, будто речь шла не о тайных тропах для перевозки оружия, а о прогулке по воскресеньям. Ингрид сидела на своей кровати и читала, и её лицо, освещённое сбоку, казалось ещё более бледным и уязвимым, чем обычно.

— Он заставил меня рисовать карту, — сказала ей Катарина, садясь на край кровати и чувствуя, как пружины скрипят под её весом. — Не ту, которую я уже рисовала, а другую, с правильными тропами. Ту, которая ведёт к старой мельнице. Он сказал, что в прошлый раз я ошиблась, но я не ошибалась, Ингрид! Я перерисовала его карту без изменений, ошибка была в оригинале. Может быть, он проверял меня? Я совсем не понимаю, что ожидать от этого человека, я силюсь понять, предугадать, но у меня ничего не выходит...

Ингрид отложила книгу и посмотрела на неё с тем выражением, которое появлялось на её лице, когда она хотела что-то сказать, но не решалась.

— Он тебя не тронул? — спросила, наконец, она, и в её голосе был страх, смешанный с чем-то ещё, может быть, с ревностью.

— Нет, — сказала Катарина, и это была правда. — Он только заставил меня рисовать и проверял, правильно ли я понимаю расстояния. Он сказал, что я вижу то, чего не видят другие.

— Он сказал, что ты видишь, — повторила Ингрид, и в её голосе появилась та же горечь, которую Катарина слышала иногда у Мишель, когда та говорила о своей молодости. — А мы, значит, не видим. Мы только моем полы и чистим картошку.

— Я тоже мою полы, — ответила Катарина, чувствуя, как внутри неё поднимается раздражение, но она старалась сдерживать его, потому что Ингрид была для неё не просто подругой, а сестрой, и ссориться с ней было глупо. — Я делаю то же, что и вы, просто иногда он зовёт меня в кабинет, потому что я умею рисовать. Это не моя вина.

— Никто и не говорит, что это твоя вина, — раздался голос из угла комнаты, и Катарина увидела, что говорит Хельга, та самая пятнадцатилетняя девушка с тёмными волосами и серыми глазами, которая с самого начала вела себя тише всех и старалась быть незаметной. — Просто мы тут валимся от работы, которую нам приходится делать, а ты ходишь к нему в кабинет и рисуешь карты. И пахнет от тебя не так, как от нас.

— Чем же от меня пахнет, Хельга? — поинтересовалась Катарина, и в её голосе появилась холодность, которой она сама от себя не ожидала.

— Графитом и его треклятым одеколоном, — сказала Хельга, и в её серых глазах блеснула злость. — И пока вы там развлекаетесь с картинками, мы моем полы по всему дому по сто раз, и наши руки трескаются, и после этого идём чистить курятник. Ты хоть раз была в курятнике? Ты хоть раз видела, как Пьер заставляет нас выгребать навоз лопатой, потому что конюх болеет, а больше никому?

Катарина молчала, потому что не знала, что ответить. Она действительно ни разу не была в курятнике и не чистила конюшню, ведь Гросс освободил её от этих работ, потому что она была нужна ему в кабинете, и она не задавала вопросов, принимая это как данность.

— Хельга, прекрати, — сказала Ингрид, и в её голосе появилась та же твёрдость, которая была в ней, когда она отказывалась есть, чтобы отдать свою порцию младшим. — Катарина не виновата, что он её выбрал. Она не просила! Она просто рисовала карту, как он велел. Если бы ты умела рисовать, он, может быть, взял бы тебя.

— Я не умею рисовать, — выпалила Хельга с отчаянием. — Я умею только доить коров и собирать яйца! Меня этому научили в деревне, до того, как привезли в приют, а здесь это никому не нужно, кроме Пьера, который орёт на меня, если я разобью хотя бы одно яйцо. Ненавижу этого ублюдка!

Она замолчала, и в комнате повисла тишина, нарушаемая только треском керосиновой лампы и далёким лаем собаки где-то в лесу. Катарина смотрела на Хельгу и видела в её лице

не злость, а страх, который она сама носила в себе с первого дня, когда переступила порог этого дома.

— Ты права, — устало сказала Катарина. — Мне повезло, что я умею рисовать, но это не значит, что я счастливее тебя. Я тоже боюсь! Я тоже не знаю, что будет завтра... Я тоже сплю в этой комнате и не могу уснуть по ночам, потому что слышу, как кто-то плачет в подушку, чтобы никто не услышал.

— Ты хотя бы знаешь, что будешь делать завтра, — ответила Хельга. — Сидеть в кабинете и рисовать свои карты. А я пойду на кухню, потом может в курятник, а может в конюшню, потом может на кухню, а может меня продадут, как брюкву с лотка. И так каждый день! И никто не скажет мне, сколько это будет продолжаться и чем закончится.

— Никто из нас не знает, чем это закончится, — сказала Катарина. — Но я точно знаю, что если мы не будем держаться вместе, то проиграем. Он только этого и ждёт, чтобы мы перессорились, начали ненавидеть друг друга, ведь тогда нас легче будет продать, потому что тех, кто не ладит между собой, совсем не жалко.

Хельга ничего не ответила, но Катарина заметила, как её плечи опустились, и напряжение, которое сковывало её всё это время, начало понемногу отпускатся.

— Ты права, — пробормотала Хельга наконец. — Мы должны держаться вместе. Но это не значит, что я не злюсь. Я злюсь! На него, на себя, на то, что мы здесь. На то, что никто не придёт нас спасать. Это несправедливо. За что нам всё это, о, святая Бригитта...

— Никто не придёт, — повторила Катарина, и это была самая страшная правда, которую она знала. — Мы можем спасти себя сами, и для этого мы должны быть умными, осторожными и не ссориться из-за того, кто моет полы, а кто рисует карты, потому что тот, кто моет полы, видит больше, чем тот, кто сидит в кабинете. Он слышит разговоры, видит, кто приходит, кто уходит. А тот, кто рисует карты, знает тропы и дороги. Если мы объединим то, что знаем, у нас будет шанс!

Хельга посмотрела на неё задумчивым взглядом и в её глазах появилось что-то похожее на уважение.

— Что ты предлагаешь? — спросила она, и её голос стал тише.

— Пока ничего, — ответила Катарина. — Но, когда я что-то придумаю, ты узнаешь первой. Обещаю.

Хельга кивнула, и на этом разговор закончился. Ингрид молчала всю ночь, и Катарина чувствовала, как её тело напряжено, как струна, которая вот-вот лопнет. Когда они легли спать, и керосиновая лампа погасла, Ингрид прошептала в темноте:

— Ты правда веришь, что мы можем спастись?

— Я верю, что мы должны попытаться, — сказала Катарина, закрывая глаза и чувствуя, как сон накрывает её, как тёплая вода.

— А если не получится?

— Тогда мы умрём, — по-простому ответила Катарина. — Но умрём не трусами, а это уже победа.

Ингрид не ответила, и Катарина услышала, как её дыхание становится ровнее, а сердце бьётся медленнее, и знала, что подруга засыпает, убаюканная её словами, которые были ложью, но ложью, без которой нельзя было жить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.